Crème de la Crème



Марсель Жуандо

ЛУЧШЕ ОШИБКА, ЧЕМ СКАНДАЛ

Перевод Татьяны Источниковой

ББК 84.4 Фр.



Marcel Jouhandeau La faute plutôt que le scandale

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Алексей Кропин Верстка: Дарья Громова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использован объект Биргит Юргенсен "Беременная туфля" (1976)

> ©Éditions de Flore, 1949 ©Kolonna Publications, 2019

Бабушка Десклодюр никогда не спала. Она обычно клала возле своего изголовья приходно-расходную книгу, четки или вязанье и всю ночь молилась или считала.

В субботу вечером ее внучки приехали из пансиона при монастыре сестер Святого Креста и собирались провести воскресенье вместе с ней. Ей хотелось, чтобы в этот день дом выглядел безупречно и был наполнен весельем.

Хотя и невозможно было избавить их от деда, пускающего слюни в кресле-качалке, но, по крайней мере, от них не требовалось наносить визит тетушке Алиде.

Обе дочери бабушки Десклодюр умерли молодыми, оставив трех малолетних сирот; сейчас Мари Шавастелон исполнилось семнадцать, а Луизе и Жанне Левассер – шестнадцать и пятнадцать лет.

Отец Мари, нотариус из Лиможа, и отец Жанны и Луизы, землевладелец из Пуату, который самостоятельно управлял своими обширными владениями, извлекая из них немалый доход, – оба женились во второй раз и были благодарны бабушке Десклодюр, женщине сильной и энергичной, за

то, что она взяла на себя заботу о воспитании их старших дочерей, которых они предпочитали держать на расстоянии от своих детей от повторных браков и от слишком молодых мачех.

Мари нелегко было отвлечь от ее тайной мечты, за которой она следовала, не слушая вас, с непоколебимым упорством. Ее манера держаться была несколько чопорной; она была горда, почти высокомерна; она была благородна. Уже одна посадка головы отличала ее от остальных. С ней нельзя было держаться фамильярно – даже те, кто являлся ей в снах, должны были представать перед ней по всей форме.

Ее внутренняя жизнь была осенена изображением лица, которого она никогда не видела анфас и один из профилей которого ее ужасал, а другой, напротив, умиротворял, отчего оно представало ей то волшебным, то кошмарным видением. Ей казалось, что она может созерцать этот неотвязный образ лишь благодаря медальону, который носила на шее на золотой цепочке, – единственной памятной вещи, оставшейся у нее от матери.

Подобным соседством объяснялось ее всегдашнее сосредоточенное выражение лица – хотя, возможно, эта сосредоточенность шла ей на пользу, коль скоро отделяла ее от остальных и придавала ей не по возрасту серьезный вид.

Учеба нравилась ей, поскольку давала убежище от себя самой. Она была первой ученицей в классе и, что удивительно, особенно заметные успехи демонстрировала в области естественных наук; но когда ей случалось дать волю воображению, ей и вовсе не оставалось равных. Такое случалось редко – она постоянно сдерживала, обуздывала себя.

Луиза, не такая умная, как Мари, была вместе с тем более человечной, более склонной и к самолюбованию, и к состраданию. Огромное состояние ее отца взрастило в ней беспечность, однако ничуть не умерило ее восхищения успехами кузины – она была в достаточной мере великодушна, чтобы не завидовать им.

И вот однажды воскресным утром Мари прогуливалась в саду своей бабушки. Стоял прекрасный июньский день. Из дома выкатили инвалидную коляску деда, который пускал слюни, сидя под каштаном.

Мари раскрыла книгу, которую держала в руке, потом снова закрыла ее, погрузившись в созерцание. Ее взгляд устремился в небо, но, скользнув вдоль ската крыши, внезапно остановился. На один миг ей показалось, что она заметила в квадратном окошке мансарды тот самый профиль, который так часто видела во сне и который ее ужасал. Но почти сразу она услышала, как бабушка ее зовет.

Мари хотелось бы поверить, что она стала жертвой галлюцинации, но, словно вопреки самой себе, она тихонько проскользнула в дом, оставшись незамеченной, и начала подниматься по лестнице, ведущей на чердак. Дверь мансарды была заперта на ключ. Сквозь замочную скважину Мари удалось разглядеть в глубине обширного пустого пространства, в самом углу под низким наклонным потолком, жалкое, согбенное, словно плакучая ива, полуголое существо, чьи скелетоподобные руки судорожными движениями пытались

отбросить длинные спутанные пряди волос с бледного лица, на котором застыло дикое, испуганное выражение.

Все еще не в силах окончательно убедиться, что это не иллюзия, Мари бесшумными шагами направилась вниз, как вдруг на площадке второго этажа нос к носу столкнулась с бабушкой Десклодюр, которая, очевидно, решила проследовать за ней. Обе молча переглянулись, словно измеряя друг друга с ног до головы, словно спрашивая друг друга о чем-то и давая ответы – без слов. Затем Мари с самым непринужденным видом поцеловала бабушку, после чего, по обоюдному немому согласию, они решили никогда не говорить о случившемся. Мари быстро выбежала в сад и с нарочитым оживлением принялась звать свою сестру Луизу, которой, разумеется, тоже ни словом не обмолвилась о недавних событиях.

Однако разгадка тайны, пришедшая вместе с трагическим зрелищем, – несчастной узницей, запертой на чердаке, – исцелила Мари от ее прежних видений, лишив их былого ужаса: так предстающая перед нами нынешняя реальность, отягощенная более серьезными заботами, чем прошлая, способна избавить нас от нашей памяти, или нашу память – от былых скорбей.

После этих событий поведение Мари внешне не изменилось – происходящее в ней было слишком тайным, чтобы заметить это со стороны; она вряд ли отдавала в нем отчет самой себе. Она лишь стала более решительной. Не слишком углубляясь во взаимосвязь первородного греха и наследственности, лишь инстинктивно ощущая грозящую ей опасность, она сказала себе: «Я должна посвятить себя Богу». И, едва получив аттестат об

č

окончании высшей школы, она сообщила о своих намерениях бабушке Десклодюр, а та не стала ее отговаривать.

Разумеется, Мари понимала, что жертва, которую она собирается принести, не будет вознаграждена. В сущности, она даже не предполагала, что небеса способны даровать ей взамен нечто, близко или хотя бы отдаленно похожее на любовь. Она не вдохновлялась мыслью ни о какой «мистической свадьбе», ни о каком «стяжании благодати». Набожная в той же мере, что и все, она не испытывала особого влечения к «божественному», - лишь смутный иррациональный страх и стремление оградить себя от опасности. Ей достаточно было мысли о том, что, под защитой бесформенного и безличного монашеского одеяния она сможет достичь, миновав все соблазны этого мира, - мира иного. Ее тактичность, ее уверенность в своем выборе, ее редкие душевные и моральные качества были слишком очевидны, чтобы духовник монастыря сестер Святого Креста высказал хотя бы малейшее возражение.

Через несколько дней после того как Мари надела монашеское покрывало, Луиза обручилась. Влиятельность ее отца привлекала множество претендентов на ее руку, но размер приданого не свидетельствовал о его намерении разорять свою новую семью; таким образом, невесте предстояло довольствоваться человеком достаточно обеспеченным и порядочным, чтобы не искать материальных выгод, – но не более того. Все знали, что Викториан Базилер, дед Адольфа и Эдуара, сколотил свое состояние на ростовщичестве с ежене-

дельным взиманием процентов, что сделало его наследников одними из самых богатых во всей округе.

Представляя Луизе будущего жениха, ее родня позаботилась о том, чтобы расписать в самом выгодном свете столь удачную партию, не забывая упомянуть масштаб денежных средств, которыми располагали его родители, и предприятий, которые те осуществляли с их помощью. («Родня» – это была, разумеется, бабушка Десклодюр.)

Дом семьи Базилер утопал в роскоши. Комнаты, предназначенные для Луизы, располагались на втором этаже, над апартаментами родителей мужа. Окна выходили на городскую площадь и сад, окружавший префектуру. Ей было обещано, что она сможет жить здесь в полной независимости. Ей очень нравились отдельный балкон и веранда, и еще больше – возможность заказать обстановку по собственному желанию.

Мужчина, за которого она должна была выйти замуж, на фоне всего этого представлялся ей чемто вроде пятого колеса в телеге. Она едва удостаивала его вниманием, как бы говоря: «Не он, так другой – какая разница?» – словно Адольфу Базилеру предстояло стать лишь еще одним аксессуаром в ее жизни.

Один и тот же закрытый экипаж, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, в два приема увез деда-паралитика и тетушку Алиду, которым предстояло завершить свое земное существование в других местах. В этот воскресный вечер, после продолжавшегося целый день празднества в честь помолвки Луизы, особняк семьи

Десклодюр сиял тысячью огней. Юные парочки из числа приглашенных уже отправлялись на вокзал, и единственный брат жениха, Эдуар Базилер, прибывший ради торжественного события из Италии, где он заканчивал учебу, собирался последовать за ними, когда Луиза, провожавшая веселую толпу гостей, внезапно обнаружила, что потеряла обручальное кольцо. Она тут же бросилась обратно, чтобы его отыскать. Адольф, ее жених, приняв на себя роль распорядителя торжества, всё это время оставался в гостиной, где танцевали остальные. И вот, когда Луиза, стоя на коленях на газоне, шарила руками по траве, она внезапно увидела, как к ней приближается молодой человек, который, едва наклонившись, подобрал утерянное ею сокровище и надел ей на палец - столь естественным движением, что вся эта сцена вполне могла показаться подготовленной заранее и отрепетированной множество раз, как в театре.

Все еще держа слегка разведенные руки перед собой, Луиза медленно подняла голову. Молодой человек столь внезапно появился в ее жизни, что она не вполне осознавала случившееся. Кто он такой? Ей захотелось убежать. Однако ее смятение не было вызвано тем, что она оказалась в столь поздний час в пустом темном саду наедине с незнакомцем. Возможно, причиной тому было их обоюдное молчание, слишком затянувшееся, о котором оба не смогли бы сказать, с какого момента оно длится, равно как и не в силах были его нарушить. Луиза лишь сознавала, что испытывает необыкновенное, новое чувство, подобного которому или хотя бы столь же сильного ей не доводилось испытывать прежде. Она остановила бы время, если бы это было в ее власти; последствия пережитого ею потрясения, внезапного и интимного,

представлялись ей столь глубокими и неопределенными, что она не могла их предугадать, чувствуя лишь, что стала иной, – до такой степени, что чуждалась сама себя, как если бы у нее украли душу, заменив ее на другую с помощью странного волшебства. Всё, что раньше представлялось ей достойным внимания в ее собственной жизни и в жизни других, в одно мгновение утратило смысл; сами предметы вокруг нее, казалось, лишились плотности, основательности, - как если бы сместился центр тяжести всего мира. Отныне всё казалось ей прозрачным и хрупким, как сон. Впервые она пробовала жизнь на вкус и, непрерывно воскрешая в памяти тот миг, который появление «незнакомца» сделало для нее незабываемым, наслаждалась его бесконечным очарованием. Казалось, день наступал и длился лишь затем, чтобы освещать лицо человека, которого она хотела бы видеть первым, проснувшись, и последним, засыпая. Когда он заговаривал с ней, она чувствовала себя околдованной - словно ее мгновенно переносили из привычного мира в другую вселенную. Сама не зная почему, она хотела вернуться обратно, начать всё сначала. Безмятежная внешне, она находилась во власти жестокой душевной борьбы, и чем больше она сопротивлялась своему Року, тем быстрее устремлялась ему навстречу: каждое отступление всё больше освобождало ее, каждое колебание усиливало ее одержимость, ее покорность неизбежному. Мысль о том, что она, в некотором смысле, присутствует при собственной смерти, давала ей утешение. Она почувствовала себя не вполне живой, когда ей представили брата мужа; Эдуар наконец-то перестал быть незнакомцем.

Ничего не подозревая о том, что происходит в душе Луизы, он полагал, что только он один пришел в смятение от этой встречи, и от этого не мог допустить ни единой слабости, что позволила бы догадаться о его состоянии; даже в первый миг он лишь едва заметно вздрогнул. Он не знал, кто она была. Теперь он надеялся, что с того момента, когда она стала для него сестрой, он исцелится от своего невольного заблуждения, порожденного необычными романтическими обстоятельствами их встречи наедине в ночном парке.

13

Однако присутствовавшая на семейном обеде Луиза, чье лицо покрывала восковая бледность, которая шла ей больше, чем любые искусственные краски, – казалась своей собственной тенью, словно кровь, струящаяся в ее жилах, была прозрачной. У нее было ощущение, что она полностью утратила вес, что она парит над землей, не касаясь ее, что отныне, где бы она ни была, она будет в большей мере отсутствовать, чем присутствовать, как если бы ее истинная сущность по-прежнему пребывала в том парке, заточенная, словно жемчужина в раковине, в глубине ее сердца. Что ей было до всего остального? Приходилось по несколько раз спрашивать ее об одном и том же, но даже когда она снисходила до ответа, ее слова, не будучи бессмысленными или неуместными, все же были мало связаны и с вопросом, и с какой бы то ни было реальностью вообще, – можно было подумать, что она в завуалированной форме пытается рассказать о неких чудесных событиях, о которых известно только ей одной и во власти которых она пребывает где-то далеко отсюда, оцепеневшая, зачарованная. Ее жених начал беспокоиться. Полагали, что она заболела. Эдуар, не замечавший никаких перемен ни в ее состоянии, ни в цвете лица, поскольку до того вечера никогда ее не видел, в результате многочисленных наблюдений, которыми откровенно делились с ним родственники, был вынужден признать, что с его будущей невесткой и впрямь что-то не так. Но в отличие от остальных, чья общая тревога всё росла, он чувствовал тайную гордость из-за того, что стал причиной подобной метаморфозы.

14

Эдуар был моложе и красивее своего брата, и вместе с тем утонченнее. Семья хотела сделать из него интеллектуала, и он превзошел все ее ожидания. Любой джентльмен был бы горд назвать его своим сыном. Он не слишком стремился развивать свои познания и оттачивать художественную восприимчивость, но изначально обладал редкими дарами, которыми никогда не злоупотреблял, хотя они с легкостью обращали всех вокруг в добровольное служение ему. Адольф, напротив, чуждый любых проявлений утонченности, был словно рожден для того, чтобы заниматься материальными делами, которые вел жесткой и твердой рукой.

В утро своего венчания Луиза, воплощенная стойкость и слабость одновременно, гораздо более восприимчивая ко всему, исходящему от Бога, чем ее кузина Мари, избравшая монашескую стезю, – молилась, и молитва порождала в ней уверенность и силу, способную противостоять Року, больше того – бросить ему вызов; но, хотя она смогла на время его заклясть, Рок, у которого было лицо Эдуара, не сдавался; все то время, что длилась брачная церемония, Луиза ощущала на своем плече невидимые когти, ранящие почти

физически; мысль о «незнакомце» по-прежнему преследовала ее. Всё остальное как будто отдалилось, не дожидаясь ее приказа, чтобы он один мог перед ней предстать. Да, в тот момент Луиза думала об Эдуаре, и когда Адольф надел ей на палец обручальное кольцо, именно из рук Эдуара она его приняла. В этот момент луч солнца, проскользнув сквозь красное витражное стекло, в свою очередь окрасил ее белоснежное подвенечное платье в цвет пурпура на глазах изумленных гостей. Отныне Эдуар должен был раз и навсегда стать для нее братом, что бы она против него ни предприняла; и когда в тот вечер она ненадолго осталась одна в своей комнате, он вошел и остановился, молча глядя на нее, - достаточно близко, чтобы она смогла заметить слезы в его глазах. Она знала, что всё происходит именно так, как должно; его молчание и неподвижность не могли ничего прибавить к тому, что уже произошло между ними в подтверждение секретного пакта, взаимного обета, некоего высшего таинства, объединившего их, от власти которого они отныне не могли освободиться.

Как никто другой, Луиза была склонна поддаваться власти воображения, миража, тайных мечтаний, которые, развиваясь отдельно от всего остального, происходящего в ее душе, постепенно захватывали ее целиком и в конце концов заменяли всю ее личность другой, чего она не сознавала и даже не замечала, поэтому зачастую оказывалась лицом к лицу с неожиданной опасностью, которой не смогла предвидеть. В течение медового месяца она только однажды пережила краткий пе-

риод просветления, когда могла рассуждать здраво, – в тот день, когда навещала свою кузину Мари в монастыре сестер Святого Креста. Оказавшись возле Мари, она вдруг смогла, словно в результате внезапного озарения, увидеть саму себя такой как есть и разглядеть грозящую ей опасность – как если бы случайно заметила в стороне от себя, на самом краю пространства своей души, зловещую тень – и эта тень была ее собственной. Ошибиться было невозможно – она разглядела себя, узнала себя. Напрасно она пыталась себя убедить, что эта тень предвещает неверное будущее, что она лжет, что она обманом заняла свое место, что это тень кого-то другого, что сама она ни в коем случае не может отбрасывать подобную тень, столь мрачную. Но чем больше она пыталась отрицать увиденное, тем больше слабела ее убежденность, и тем сильнее ее охватывал ужас, источником которого была она сама. Теперь она завидовала Мари, живущей в покое и отрешенности. Почему она не последовала примеру своей прекрасной и решительной старшей сестры? Почему слишком поздно поняла смысл всех слышанных когда-то намеков на душевные расстройства, которые в злополучной семье Десклодюр встречались гораздо чаще, чем в любой другой? Смутное дурное предчувствие зародилось в ее душе, когда она, прощаясь, прижалась лбом ко лбу своей сестрымонахини.

Год за годом рождались дети, их становилось все больше, и постепенно эта вереница ангелочков, подобных тем, что изображаются на церков-

ных фризах, сделала менее суровыми прочные бастионы, которые Луиза после свадьбы воздвигла между собой и своим демоном.

Тем временем Эдуар – сделал ли он это затем, чтобы приблизиться к ней? – начал ухаживать за ее младшей сестрой Жанной и в конце концов попросил ее руки. Напрасно Луиза пыталась убедить бабушку Десклодюр в том, что характер Эдуара не вызывает у нее ни малейшего доверия. Пытаясь оклеветать предмет своей любви, хотела ли она отдалить от него свою младшую сестру? Она с такой лихорадочной поспешностью стремилась расстроить их будущее, что почти убедила себя в том, будто Эдуар пытался соблазнить Жанну, действуя по расчету. Ставка в игре была высока: разве комуто есть дело до счастья и спокойствия невесты, если она так богата? Но, вопреки всем ее ухищрениям, бабушка Десклодюр согласилась принять второго Базилера в свою семью, и Луиза, которая последние четыре года избегала этого человека, теперь вынуждена была видеть его почти каждый день – во всем блеске его юного возраста и прекрасных манер; фактически, она разделяла с ним медовый месяц вместе с другой женщиной – своей собственной сестрой и самой близкой подругой, почти своим двойником. Потрясение было слишком сильным. Снова, в который раз, Луиза должна была противостоять Року. Она терпеливо переносила новые испытания, но это терпение далось ей дорогой ценой – она почти убедила себя в том, что мертва; это было терпение мертвой. Холодное почтение, которое она испытывала к мужу, и кортеж из трех детей поддерживали ее в избранной ею тактике пассивного сопротивления, которая делала ее нечувствительной и почти невидимой. Она

понимала, что не в силах даже признаться самой себе в том, что любит, назвать имя того, кого любит; что в ее душе нет места для любви, что «ее любовь» отдельна от нее самой, что она держит свою любовь у порога собственной души, денно и нощно следя за тем, чтобы та не переступила порог, не позволяя ей войти. Она соглашалась приблизить к себе лишь некую разновидность меланхолии, которая окутывала ее, словно облако, и в которой она уединялась, оставаясь недосягаемой, находя в этом уединении сладость и утешение.

Однако теперь она столкнулась с суровой необходимостью еще раз пройти свой крестный путь, не пропуская ни одной остановки, и вновь увидеть те места, где некогда тот же мэр и тот же священник скрепили и благословили ее собственный брак, а теперь, следуя тем же самым ритуалам и произнося почти те же самые слова, скрепляли и благословляли брак Эдуара. Но отчего, Боже правый, эти одинаковые ритуалы и слова обладали столь великой властью, что смогли разлучить их дважды – тогда как могли бы использовать эту власть, чтобы их соединить? По какой забывчивости, или попустительству, или злому умыслу судьбы тот, кто мог бы составить ее счастье, навечно сделал ее вдовой? Луиза не жаловалась вслух, но эти жалобные стенания, которые она поверяла лишь самой себе, для нее самой звучали оглушительно. Ее чувства носили неопределенный характер, обычно возникающий благодаря долгой привычке к дисциплине и душевному спокойствию, которые их направляют и сдерживают. Ее любовь обитала в столь недоступном и тайном уголке души, что ничем не угрожала ее супружеской вер-

ности, которой всецело уступала место, - и даже,

напротив, придавала ее семейной жизни некий недостающий элемент, заполняющий пустоту фантазией, поэзией, чарующей тайной музыкой, что сопровождала ее всегда и везде.

Иногда, правда, она чувствовала, что ее жизнь изменилась – словно внезапный вихрь унес ее далеко по ту сторону привычных границ. Так бывало, когда ей случалось заметить в манере Эдуара нечто, скрывающее в себе смысл, понятный только им обоим, – как если бы он сумел изобрести доступный лишь для них язык, который она всеми силами пыталась расшифровать. Как знать, не виделся ли ей в его решительном намерении жениться на Жанне скрытый умысел – вновь напомнить ей, Луизе, о себе, неважно каким способом, пусть даже таким, самым болезненным, самым жестоким, и возможно даже, нарочно именно таким, наиболее унизительным для себя и для нее. - утолив тем самым свою жажду мести Року и открыто бросая ему вызов, чтобы воскресить между собой и ею, среди посеянной им самим безнадежности, слабый росток надежды.

Всякий раз, когда обстоятельства вынуждали его к общению с Луизой, он держался безупречно, одинаково избегая назойливости и демонстративного равнодушия; в его манере проскальзывали лишь едва уловимая грусть, нежность, отстраненная почтительность и та особого рода безмятежность, которая словно бы покоилась на скрытой уверенности в том, что, будучи вместе, они находятся в полной, абсолютной безопасности – словно под охраной самой Вечности, которая предназначила их друг другу, пусть даже это совершенно не заметно всем остальным, – как если бы вопреки людям и событиям их изначально соединяло

некое естественное сообщничество, основанное на обоюдной принадлежности другому миру. В глубине души Луиза чувствовала, что любая очевидность, любая поспешность сейчас способны только навредить им обоим.

После отъезда молодоженов в свадебное путешествие бабушка Десклодюр почти каждый день получала от них известия, которые передавала и Луизе. Сквозь обычные слова порой внезапно прорывалась какая-нибудь особенно реалистичная деталь и, подобно слишком яркому лучу солнца, почти физически вонзалась в ее плоть. Ей казалось, что если бы Эдуар женился на какой-то другой женщине, это имело бы куда меньше последствий для нее - но он женился на ее собственной сестре, которую она знала слишком хорошо, чтобы не представлять ее все время рядом с ним. Луиза так отчетливо видела их «вместе», что порой это заставляло ее краснеть. У них не могло быть от нее никаких тайн – и порой, когда рассказы бабушки Десклодюр казались ей слишком откровенными, Луиза внезапно замолкала, словно отгораживаясь от собеседницы, - что вызывало неловкость у них обеих.

После свадьбы Адольф некоторое время, разумеется, старался заслужить благорасположение Луизы, но она, пребывая в постоянной отрешенности, почти не замечала его неловких знаков внимания – которые сам он считал тем более ценными, что любые проявления нежности были совсем не свойственны его грубоватой натуре, – и наконец он полностью отказался от них.

Как-то раз, когда Луиза прогуливалась с детьми и гувернанткой по обычно безлюдному маршруту, к ней приблизилась одна из продавщиц «Галереи Базилер» и, набравшись храбрости, заговорила – а потом долго не могла остановиться. Она недавно лишилась работы, и причиной тому был нрав ее патрона. Теперь она выкладывала как на духу всё о его привычках и пороках. Луиза попыталась оборвать ее, но еще до того, как это пришло ей в голову, она уже знала достаточно, чтобы не хотеть узнать больше, а недолгое время спустя знала уже всё: как Адольф Базилер увольнял с работы девиц, которых еще накануне осыпал милостями; не уступивших его домогательствам он выгонял за их несговорчивость, но и уступившие не задерживались долго, чтобы освободить место для новых. Не довольствуясь этим, он по вечерам назначал свидания горничным, а потом в скором времени почти в открытую сплавлял их в один из публичных домов, которых у него был целый квартал. Самое удивительное, что все эти развлечения ничуть не мешали его работе и не ослабляли его властности. Можно было подумать, что именно его исключительная активность требует таким образом выхода, и что своей коммерческой репутацией он как минимум наполовину обязан впечатляющим слухам о своем ненасытном темпераменте.

После этого разговора, внезапного как пощечина, Луиза не могла понять, стала ли она несчастнее или счастливее. На ее застывшем лице читалось скорее презрение, чем гнев, скорее удовлетворение, чем отвращение – она чувствовала себя так, словно восторжествовала над злом и освободилась от него. Злом было постоянное, ежедневное и, что еще хуже – еженощное присутствие

бежная близость их тел. Теперь у нее появилась возможность навсегда отторгнуть его от своей интимной жизни, изгнать из своей постели – сегодня же, этой же ночью. Для этого у нее имелся не просто формальный предлог, а законное право, почти обязанность. Она наконец-то могла вырваться из этой чудовищной близости, чтобы полностью погрузиться в свой «сон». Но, по мере того как она приближалась к дому, всё вокруг казалось ей опрокинутым, обрушенным в смятение и хаос. И словно бы этого было недостаточно – переступив порог, она оказалась среди еще большего смятения. Ее мужа только что принесли в дом на носилках – с ним случился удар. Она нашла его в покоях его матери - с блуждающим взглядом, полуоткрытым ртом и обнаженной шеей, обвитой ожерельем из пиявок. Он смотрел на нее, не видя; его грудь была густо запятнана кровью. Луиза даже не

рядом с ней этого человека, обязательная и неиз-

Заговорили о том, чтобы вызвать Эдуара; она этому воспротивилась.

дрогнула. Этот человек вызывал у нее не столько злость, сколько равнодушие; она испытывала к нему не больше жалости, чем могла бы испытать в подобных обстоятельствах к любому другому.

Впрочем, Адольф пошел на поправку довольно быстро. Но врач, с учетом всех обстоятельств, после доверительного разговора с Луизой предписал супругам строгое воздержание.

Со временем матушка Ильдефонс превратилась в особу, с которой считался весь церковный приход. Своим повелительным голосом она, казалось, могла по примеру Амфиона заставлять кам-

ни укладываться в стены. Она созидала играючи; для всех своих питомцев она была светилом, сияющим превыше всех, столпом закона и пророком в одном лице. За ней оставалось последнее слово касательно образования ее воспитанниц, и она сама занималась их обучением, хотя под ее началом одновременно пребывали десятки других подопечных - что на лесозаготовочных и строительных площадках, что в монастырских рукодельнях. Ее уроки часто посещали и взрослые; никто лучше нее не умел мгновенно охватить все аспекты того или иного вопроса, изложить суть дела, очищенную от ненужной шелухи, и наделить всех знаниями в равной мере, словно птица, кормящая птенцов. Она не знала ни праздности, ни поражений. Стоило вам оказаться в поле ее зрения, и вы уже не могли ускользнуть - ни намеренно, ни по счастливой случайности. Ореол особого почтения окутывал самое имя этой женщины, которую знали и уважали на пятьдесят лье в округе; для любой молодой девушки самой лестной характеристикой всегда служило упоминание о том, что она воспитывалась в монастыре Святого Креста.

Матушка Ильдефонс придавала большое значение играм и обладала почти гениальным чутьем, когда дело касалось постановок любительских спектаклей. Когда к ней на уроки приводили новых детей, она сразу же примечала среди них тех, кого могла бы вывести на сцену, и заранее выбирала для них роли. Очень быстро она достигла столь невероятных результатов, что даже знатоки поражались, насколько удачно она использовала и красоту, и уродство, и хорошие, и дурные наклонности своих воспитанников. Она часто говорила:

«Мой театр мне дороже, чем моя школа, потому что нет образования без игры. Вот где получаешь самый лучший опыт, самые полезные умения из всех, что пригодятся в жизни. Только на сцене ты оказываешься на равных со всем миром. Между школой театра и школой жизни разница только в том, что первая более совершенна».

Матушка Ильдефонс носила очень темные очки. Некоторые считали, что на самом деле они ей не нужны, и она носит их лишь затем, чтобы скрыть, приглушить, смягчить свой пылающий проницательный взгляд, который в противном случае одинаково смущал бы и ее, и собеседников. Когда он оставался завуалированным, это придавало ее улыбке, как бы предоставленной самой себе, неодолимое очарование, всему ее лицу – безмятежную неподвижность и в то же время повелительность античных статуй, а каждому ее жесту, даже наиболее уверенному, – мягкость, благодаря которой он обретал сходство с поглаживанием.

Всегда обращаясь одинаково и с самым скромным, и самым величественным собеседником, для каждого она находила именно те слова, которых он ждал. Отцы ее учеников нередко смущались в разговорах с ней, поскольку она казалась больше похожей на мужчину, чем они сами, но исходящая от нее энергия подчиняла их скорее в силу ее всегдашней спокойной уверенности, нежели властности.

Немалая часть ее очарования заключалась в ее походке – она передвигалась торопливыми семенящими шажками, почти не сгибая коленей и не отрывая подошв от земли – будто скользя по ней, словно лебедь по водной глади. Со стороны казалось, что она движется не спеша – настолько

это скольжение было плавным и к тому же бесшумным, благодаря туфлям без задников на веревочной подошве, - но при этом она на удивление быстро оказывалась рядом с вами, прежде чем вы успевали сделать хотя бы несколько шагов ей навстречу. Ее легкие повороты выглядели весьма достойно, несмотря на захватывающую быстроту, а манера держать голову высоко, прямо и совершенно неподвижно, никогда не склоняя ни к правому, ни к левому плечу и не покачивая ею в такт движениям тела, придавала ей такой величественный вид, что и ученики, и священники называли ее «Королевой». Даже перед самим Творцом чело матушки Ильдефонс не склонилось бы, а корпус не дрогнул. Ее воспитанников (которые тщательно подражали ей) всегда можно было отличить по безупречной выправке.

К счастью для Луизы, охваченной смятением, царившим в доме и в ее собственной душе, она могла по крайней мере сложить с себя заботу о дочерях, которых передала в столь надежные руки.

Адольф, поправившись, стал появляться у жены всего раз в день – в двенадцать утра, для совместного завтрака. Вечером он обедал в обществе деда и бабушки Базилер на первом этаже, куда приводил с собой Клода – своего старшего ребенка и единственного сына. Луиза называла эти собрания «обедами заговорщиков». Вскоре Адольф перестал утруждать себя даже подъемами на второй этаж в полдень, и постепенно все привыкли к такому положению дел, больше всего похожему на неофициальный развод.

Бабушка Базилер, властная женщина, из той же породы, что и бабушка Десклодюр, хотя ме-

нее знатная, буквально на следующий день после свадьбы взяла на себя управление семейными делами, что и привело к нынешнему процветанию. Двоюродная сестра своего мужа, она не обманула ожиданий старого Базилера, своего дяди с материнской стороны, чей ум и проницательность сделали выбор в ее пользу, сочтя ее наиболее достойной стать его будущей невесткой. Лицом она напоминала постаревшего Гладстона. В семье изначально было принято, что женщины сосредотачивали всю власть (в том числе и над мужьями) в своих руках. К этому матриархату отец Адольфа и Эдуара приспособился как нельзя лучше. Его абсолютно не беспокоило, что он ничем не распоряжается, не имеет ни малейшего влияния, ни малейшей значимости в собственном доме. Казалось, никто и никогда не отрекался от власти с большей охотой. Он вполне довольствовался теми скромными радостями жизни, которые ему позволялись. Маленький и круглый, в безупречном светлом костюме и увенчанный котелком ему в тон, с которым расставался только на ночь, он весь день фланировал где пожелает. Его лицо, наполовину скрытое густыми усами, обрамляли две изогнутые рукояти совершенно одинаковых монументальных тростей, которые стали до такой степени неотъемлемыми его атрибутами, что казалось, будто он всегда ходил на четырех ногах.

Бабушка Базилер царственно возвышалась за кассой «Галереи» с утра до вечера; ее муж в это время скромно сидел на краешке кресла, сконструированного специально для него (поскольку его телосложение было весьма своеобразным). В одиннадцать утра и в шесть вечера двое служащих, нанятых исключительно для этой работы,

подхватывали его под руки и сопровождали в «Кафе де Франс», за владелицей которого, вдовствующей мадам Буйерон, он ухаживал уже с полвека. Эта высокая женщина с роскошными формами, облаченная в ладно сидевший приталенный жакет из тонкой шерсти со множеством маленьких пуговок, череда которых подчеркивала соблазнительные изгибы ее тела, была не менее своего поклонника верна своим привычкам и манерам. Дважды в день она, в сопровождении единственного официанта в белой форменной куртке и с перекинутой через руку салфеткой, старавшегося идти как можно медленнее, торжественно проплывала через весь огромный пустой зал к дверям, чтобы встретить своего гостя. В этом зале могли бы свободно танцевать две сотни человек, но вот уже давно здесь появлялся одинединственный завсегдатай. Усадив его за стол под сенью огромных пальм и лавровых деревьев, она располагалась неподалеку со своим извечным шитьем, в то время как ему каждые четверть часа подавали аперитив. Иногда она поднималась и слегка смачивала губы в его бокале оршада. Так папаша Базилер блаженствовал пару часов, иногда без единого слова, а порой, напротив, не сдерживая душевных излияний, в ответ на которые мадам Буйерон лишь слабо кивала – но ему было этого достаточно: как-никак, он находился в кафе с женщиной, причем не со своей женой! Всё, что существовало за пределами этого райского места отдыха, для него не имело значения.

Бабушка Базилер не снисходила до того, чтобы сердиться на такое поведение. Скорее оно даже было для нее желательно, поскольку укрепляло ее позиции. Сознавая преимущества, которые

давала ей ревность, она втайне наслаждалась слабостью своего супруга, благодаря всё более продолжительному отсутствию которого заменила его везде и во всем – до такой степени, что он перестал существовать и у себя в доме, и где-либо еше для кого бы то ни было, за исключением часа аперитива в «Кафе де Франс» для вдовы Буйерон. Благоприятствовало ли подобное самоустранение от дел отца притязаниям сына? Старая дама получала не меньше удовольствия, закрывая глаза на дебоши Адольфа, который, в свою очередь, не хотел от нее ничего другого, кроме взятия на себя права принимать решения по любому вопросу. Из опасения, как бы Луиза не вздумала вступить в борьбу за власть, за ней не признавали ни малейших коммерческих способностей, вплоть до простого умения «украшать собой интерьер». И вот, пользуясь теми крохами благосклонности, которые ей перепадали, и руководствуясь тем небольшим жизненным опытом, который она смогла получить, будучи лишена материнского воспитания, Луиза смогла на удивление хорошо наладить свой домашний быт и самостоятельно вела расходы, касающиеся стола и бельевой. Однако свекровь не переставая донимала ее мелочными придирками, всё больше ограничивая в средствах. Недели не проходило без того, чтобы старая мегера, увидев, как кто-то из слуг Луизы возвращается с рынка с полными корзинами провизии, не устремлялась по лестнице ему навстречу, чтобы проинспектировать содержимое. О результатах расследования немедленно сообщалось сыну. У него не принято было ни в чем себе отказывать: провизия должна была быть первой свежести, масла покупалось по полфунта, чтобы не успело испортиться, вино до-

ставлялось втайне от домашних. «Здесь префектуре делать нечего!» – как любила говорить бабушка Базилер, имея в виду, что роскошь стола префекта многократно превзойдена. Обычно Адольф появлялся на обеде, уже когда подавали десерт, окидывал быстрым взглядом остатки трапезы, сравнивал меню матери и жены и отклонял все претензии последней, которые знал наизусть, как школьный урок. Луиза, уже осведомленная слугами о чужих бесцеремонных проверках своих корзин на площадке первого этажа, заранее ждала его прихода и, стоило лишь Адольфу произнести неизбежное: «Ну, здесь префектуре делать нечего!» - взрывалась от возмущения и говорила, что «они» у нее дождутся, это уже дело решенное. Спор переходил в ссору, град оскорблений сменялся пощечинами. Доходило до того, что Жаклин, старшая из двух дочерей, обожавшая мать, при появлении отца пряталась под стол и норовила уколоть его иголкой в ногу, тогда как он пытался ее пнуть. Бабушка Базилер, прячась за дверью, наблюдала за тем, как всё сильнее бушует вызванная ею буря, и сердце ее учащенно билось от восторга. Даже Клод, ее внук, всё чаще восставал против матери: начиная с десяти лет он ее больше не слушался и не считался с ней. Постепенно погружаясь в уныние, Луиза утрачивала былую безмятежность, становилась всё более раздражительной. От ее кокетства не осталось и следа. Помимо того, что ей приходилось ограничивать семью в еде, она вынуждена была жертвовать значительной частью своего гардероба в пользу дочерей, чьи притязания росли вместе с ними. Вскоре, чтобы не являться на публике вовсе раздетой или одетой не по моде, чего ей не позволяло ее положение, Луиза вооб-

ще перестала выходить из дома. Самоотречение, к которому всегда стремились принудить ее родственники мужа, она добровольно избрала сама. Однако ее нынешнее плачевное состояние делало ее столь трогательной, что она вызывала сострадание даже у слуг, чья преданность помогала ей умело вести расходы и договариваться с поставщиками на выгодных условиях, а также подтасовывать цифры в приходно-расходных книгах, так что в итоге она выжимала всё возможное из тех мизерных сумм, которые бабушка Базилер, при всей своей скаредности, всё же регулярно передавала в ее распоряжение. Конечно, это был не бог весть какой триумф добродетели, но иногда, при содействии многочисленных сообщников, Луизе удавалось одержать верх над старой демоницей, которая, сама не подозревая о том, оплачивала тайные расходы невестки.

Однако матушка Ильдефонс напрасно уговаривала Луизу поучаствовать в праздничных спектаклях, где блистали ее многочисленные воспитанницы. Каждый раз, в самый последний момент, Луиза неизменно отказывалась. За пределами дома, особенно среди радующихся людей, большинство которых принадлежали к хорошему буржуазному обществу, она еще сильнее ощущала свое вселенское одиночество. Она казалась себе заброшенной, несчастной, нелепой, никчемной, и хотя прекрасный образ по-прежнему таился в глубине ее души, его былое сияние потускнело. У себя, в окружении своих четырех ангелов, которые порой напоминали ей Эдуара (по крайней мере, в их жилах текла та же кровь, нежно окрашивающая детские щечки), она ощущала полноту жизни, наслаждалась своим тайным счастьем,

своим укрытым от посторонних глаз величием, и этого, в сущности, было ей достаточно. О, воистину она сделала всё, чтобы отвоевать своих детей и вместе с тем не привязывать их к себе слишком сильно. Однако, поскольку они решительно встали на сторону матери, показав себя упорными и неподкупными, - отчего Луиза лишь еще сильнее ими гордилась, – первый этаж, будучи не в силах их соблазнить, воспылал ко всем пятерым одинаковой ненавистью. Воинственные и храбрые, они от этого ничуть не страдали; из некоего извращенного чувства соперничества Луиза баловала детей сверх всякой меры. С другой стороны, плоды воспитания, данного бабушкой Базилер юному дофину, были воистину пагубны. С детства поощряемый к тому, чтобы дерзить собственной матери, он стал вести себя еще более нагло со всеми остальными. Некоторую почтительность он проявлял лишь к бабушке и к отцу, но не столько ради них самих, сколько ради собственной выгоды. В пятнадцать лет он выглядел на восемнадцать, и дирекция лицея, движимая смутными недобрыми предчувствиями, закрыла перед ним двери. Он постоянно крал деньги из кассы, улучив момент, когда никто его не видел. Часто, стащив отрез шелковой ткани, он обвязывался ею вокруг пояса или прятал в портфель шелковые платки вместо книг, а потом продавал их в притонах или раздаривал своим любовницам. Но за все эти пакости бабушка и отец разве что бранили его для проформы, при этом втайне им гордясь: его поведение они приписывали избытку жизненных сил и раннему созреванию, что не могло не проявляться, пусть даже и таким безрассудным образом. В разговорах между собой они доходили до того, что

даже хвалили его за изобретательность проделок, которые, по их мнению, свидетельствовали о лихости и широте натуры: еще не хватало, чтобы в нем обнаружилось полное отсутствие тяги к приключениям, не говоря уже о слабости, трусости и пресмыкательстве!

Коль скоро мы заговорили об этом несносном мальчишке, стоит упомянуть, что было в нем еще нечто одновременно от поэта и правителя эпохи упадка – этакого Нерона или Калигулы окружного уровня, подростка-Гелиогабала: буйная фантазия с примесью одержимости, тяга к волшебству инфернального, природная одаренность без всякого стремления к утонченности. Ничто не могло перебить его охоты к риску, к скандалу – даже не обязательно публичному: зрители его не интересовали. Его сердце и разум легко обходились друг без друга; его эксцентричность ничуть не страдала за закрытыми дверями, в отсутствии свидетелей – она существовала сама по себе, из любви к искусству, как если бы он, будучи избалован всеми, в конце концов избаловал, развратил себя сам – и неожиданно для него самого врожденная склонность к авантюрам обрела такую силу, которой он не мог предполагать и в которую едва мог поверить.

Едва оправившись от болезни, Адольф вернулся к привычным любовным похождениям. Несмотря на предостережения своего врача, он не обращал внимания на растущее истощение, которое явно свидетельствовало о том, что болезнь не отступила, – впрочем, он и без того прекрасно это знал. Покалывающая боль, постепенно концентрируясь в левом плече, позволила обнаружить ее очаг. Визиты к врачам следовали один за другим,

затем медицинские светила сами стали его посещать и наконец у него поселились. Вмешательство двух выдающихся парижских хирургов оказалось безрезультатным. Терзаемый болями и дурными предчувствиями, Адольф часами лежал в своей бывшей детской, куда Луиза спускалась каждый день после обеда, словно посторонняя, чтобы его проведать. Иногда ей доводилось встречать там странного вида женщин, нелепо разодетых и безвкусно накрашенных, которых он ей не представлял и которые не решались произнести ни слова в ее присутствии – а если все-таки осмеливались почти шепотом заговорить, Луиза всякий раз поражалась их вульгарности.

Вскоре, уже чувствуя близящуюся смерть, Адольф отказался и от навязчивых забот матери, и от встреч с бывшими любовницами, которые теперь вызывали у него лишь отвращение, и потребовал, чтобы никто из посетителей больше не переступал его порога, а жена, напротив, не отходила от него ни на шаг. Так продолжалось вплоть до того дня, когда он, очевидно для того, чтобы чувствовать себя еще надежнее защищенным от всех, кого погубил, и официально порвать с прошлым, решил воссоединиться со своим семейством на втором этаже, занять место возле Луизы и никогда больше его не покидать. С большим трудом его переместили наверх, и теперь настал черед бабушки Базилер навещать своего сына в его фамильных покоях, где она чувствовала себя посторонней. Однако она сохранила за собой некоторые привилегии - в частности, право вскрывать личную переписку Адольфа. Его любовницы, получившие отставку и полностью отчаявшиеся, отныне не могли приблизиться к его ложу, к которому не всегда получала доступ даже его мать,

но это лишь побуждало их к непрестанным попыткам вторжения. Одна из них сумела проникнуть в его апартаменты, переодевшись мальчиком-посыльным, другая - сестрой милосердия, но обеих он разоблачил сам, еще усугубив триумф прогнавшей их Луизы, и напоследок осыпал отборной бранью. Самая искренняя и в то же время самая бесстыдная из них, хотя и пытавшаяся на свой лад сохранять благопристойность, все же решилась написать Луизе письмо, наивное красноречие которого, не банальное и не притворное, оказалось способным растрогать последнюю. В письме она говорила, что знает о близящейся кончине «своего» Адольфа и просит повидать его в последний раз, стоя у порога между створками двух дверей так, чтобы сам он ее не увидел. Она отважилась даже добавить, что пишет Луизе «как женщина женщине» и, даже будучи «публичной девкой», не боится вызвать презрительную жалость у той, к которой обращается со всем почтением, – «потому что любовь для всех одна», а несчастная любовь и подавно отменяет любую несправедливость, любое неравенство. «Не сердитесь на меня, мадам, ведь между нами больше не осталось - увы! - ничего, кроме общей скорби». И Луиза позволила ей прийти, даже сама приподняла перед ней завесу алькова, глядя полными сострадания глазами, как эта женщина, еще молодая, живая и красивая, созерцает умирающую плоть. Возможно ли, чтобы развратное наслаждение пробудило такое благородство, такую безграничную преданность? Величие души настолько всеобъемлюще, подумала Луиза, что мы можем поддаться пороку, лишь если он воплощается в том или ином обличье... хотя бы и в обличье добродетели.

II 35

Эдуар, должно быть, извещенный накануне, прибыл один. Два года они с Луизой не виделись. Его отношение к ней казалось прежним, но она, сознавая, как сильно изменилась, чувствовала себя защищенной, убереженной, навсегда застрахованной от любых опасностей, которые могли бы угрожать ее сердцу с его стороны. Находясь в непосредственной близости к смерти, она втайне радовалась этому и мысленно пересчитывала свои седые волосы, словно надежных телохранителей. В своем несчастье она испытывала тайное блаженство, произрастающее из чувства собственной неуязвимости, - оно опьяняло ее и позволяло отчасти забыть о душевной боли. Но Эдуар, глядя на нее в эту самую минуту, находил ее еще более красивой и волнующей в ее сдержанности – словно бы неяркое, но ровное неослабевающее пламя окутывало ее мистическим ореолом, делая недосягаемой. Понимая, что сейчас ему не удастся приблизиться к ней, он счел за лучшее отступиться - так отказываются совершить святотатство или замутить чистый родник. После долгих бессонных ночей на ее лице не осталось былой безмятежности; она казалась сосредоточенной лишь на том, чтобы неукоснительно следовать долгу. В ее утомленных чертах Эдуар читал историю ее жизни, видел постепенно становящиеся все заметнее следы испытаний, перенесенных без всяких жалоб, - постоянных унижений, доведения почти до нищеты, всеобщей ненависти в собственном доме. Он знал свою мать и своего брата и догадывался, какому обращению подвергали ее эти два существа в своем неискоренимом эгоизме. Тело Адольфа, лишенное одной из конечностей, представляло собой бесформенную тошнотворную массу, вокруг которой Луиза в течение нескольких месяцев хлопотала день и ночь, ни разу не позволив себе выказать брезгливость. Сколь мучительно было представлять ее прикованной к этой развалине, в которой больше не осталось ничего человеческого, к этому ничтожеству, кого почти полностью оставило достоинство жизни, но еще не облекла своим величием смерть. Всё то время, что Адольф гнил заживо, он почти не отпускал жену от себя, и на все былые обиды она отвечала лишь неустанными заботами, так хорошо скрывая от него отвращение, что мало-помалу научилась скрывать его и от себя самой, а потом и вовсе перестала его испытывать. Чем ближе он становился к избавлению от страданий, тем ближе становился и к Луизе – не потому, что чувствовал благодарность или платил ей признательностью за заботу, но потому, что нуждался в ней. Ему казалось, что к нему вернулась – вернее, пробудилась в нем - та первоначальная нежность, которую даже самый грубый и заурядный жених не может не испытывать к своей юной невесте, принесенной ему в жертву ради корыстных интересов двух семейств. Знаки внимания, которые он в те

времена постоянно изобретал в надежде, что она его признает и простит ему узаконенное насилие по отношению к себе, она принимала с мимолетной благосклонностью, поскольку догадывалась, что они могли быть адресованы любой, оказавшейся на ее месте, отчего ее удовольствие также не имело конкретного адресата; но сейчас, когда они были обращены именно к ней и она со всей очевидностью их заслуживала, - она их отвергала. Тем не менее Адольф, очнувшись от своего каменного забытья, всякий раз повторял ей: «Другие женщины не в счет. Любовницу заводят, как породистую лошадь или собаку; но ты единственная - моя жена, мать моих детей, женщина всей моей жизни». Раскаяние за былые провинности лишь усугубляло в нем почтение, которое он на закате дней испытывал к своей жене – даже не к матери; кроме того, он чувствовал глубокую признательность за саму возможность созерцать, прежде чем навеки закрыть глаза, ее лицо, внушавшее ему не только благоговение, но и восхищение. Она одна примиряла его с жизнью и уберегала от страха смерти – он втайне думал, что если Луиза существует, то, возможно, есть и Бог в обличии Луизы, способный прощать, как это делает она, и каким-то образом возместить ущерб, нанесенный ее жизни грехами мужа. Теперь, когда все покинули его, жена стала его единственной религией и одновременно святыней; каждый ее вздох, каждый, даже самый незначительный жест побуждал его лишь к одному – искуплению вины, и все то почтение, которое он пытался ей оказывать, все раскаяние, которое он очевидно испытывал, хотя и не смог бы облечь в слова, чтобы выразить, даже его холодный пот и слезы – всё кричало ей об этом.

Каждым своим взглядом, обращенным на самого себя, он признавал собственную ничтожность, но когда он поднимал глаза на жену в присутствии Эдуара, которого рад был призвать в свидетели своего преклонения перед ней, - каждый его взгляд становился хвалебным гимном в ее честь, восславлял и превозносил ее в немом религиозном трепете. Благоговейное выражение не сходило с его лица, какой бы скованной и беспомощной перед обстоятельствами сама Луиза себя не ощущала, постоянно пребывая в той напряженной тишине, что предшествует другой – загробной, мегнетущей, менее патетичной, близость которой Эдуар чувствовал яснее, чем она. Однако Луиза уже слишком давно отреклась от себя, чтобы сейчас позволить себе возродиться, пробудив в своей душе любовь и самолюбие; она ни разу не проявила к мужу хоть малейшее подобие любви, несмотря на бесчисленное множество подходящих для этого случаев, равно как ничем не показала, что заметила его собственные вновь вспыхнувшие чувства к ней. Казалось, единственным всецело захватившим ее чувством было сострадание, лишенное каких бы то ни было личных привязанностей, - она ухаживала за Адольфом, как могла бы ухаживать за любым страждущим человеком, даже незнакомым. Однако ее сострадание было настолько всеобъемлющим, что, сосредоточившись на заботах об Адольфе, Луиза утратила бдительность по отношению к самой себе и перестала совершать над собой усилия, позволяющие не замечать присутствие между ними еще одного существа – единственного на всем свете, когда-либо вызывавшего у нее интерес и повергавшего ее в смятение. С минуты на минуту должна была под-

няться вуаль, скрывающая от ее глаз приближение чего-то более непреклонного, более повелительного, более значимого, чем смерть, - как будто смутно знакомая прохладная ладонь коснулась ее затылка, вызвав непроизвольную дрожь и словно побуждая следовать каким-то неизвестным путем. Луиза, напротив, замерла, не решаясь шелохнуться, чтобы заставить всех, включая саму себя, забыть о своем существовании; но луч света, таинственным образом пробившийся непонятно откуда, внезапно озарил ее - она касалась своих век, своих рук и чувствовала, что освободилась, как по волшебству, от невидимых оков, связывавших ее с неподвижным телом, которое, некогда заставив ее пять раз становиться матерью, теперь облекло ее своим трупным запахом и угрожало, вцепившись мертвой хваткой, увлечь за собой в могилу. Однако она все еще пыталась разделять с ним его гниение заживо, словно это гниение уже проникло внутрь нее самой, и ей лишь с трудом удавалось убедить себя, что ее не точит подобный недуг; порой она думала, что, в сущности, поддаться воображаемой болезни – это лучший способ покончить с собой, и только мысль о дочерях удерживала ее от этого почти незаметного соскальзывания в страну теней. Благодаря матушке Ильдефонс, чье лицо озаряло эту небольшую печальную девичью группку, подобно благодатному светилу, она могла немного отдохнуть - под опекой второй матери девочки ни в чем не нуждались. Давящая, отупляющая усталость, накопившаяся за долгое время, не позволяла ей полностью погрузиться в собственные мысли и заботы; вместе с тем она почти не замечала, что происходит вокруг. Так продолжалось до вечера субботы, ког-

да Адольф вдруг резко выпрямился и сел на своем ложе, а затем потребовал немедленно вызвать нотариуса и священника. Несмотря на все советы тех законоведов, которых подсылала к нему мать, он завещал жене все свое состояние и имущество, за исключением того, которое не могло быть отторгнуто у детей в ее пользу. Священник задержался ненадолго. В своей исповеди Адольф лишь сказал, что делал в жизни всё, кроме добра, хотя не убивал и не грабил, а самым большим своим грехом считает прелюбодеяния, которые совершал бессчетно. Едва получив отпущение грехов, он стал во весь голос звать Луизу, которая смогла лишь закрыть ему глаза и рот, прежде чем, полностью обессилев, упасть без чувств, - словно бы она, выполнив до конца свою миссию, получила позволение устраниться от дел. Эдуар, стоявший у нее за спиной, успел ее подхватить. Сколько времени они оставались так, все трое? Несколько минут или столетие? Вечность или миг? Даже Эдуару, единственному сохранившему сознание и чувство времени, показалось, что вся жизнь вокруг него внезапно остановилась, и Вселенная неподвижно застыла посреди бесконечного пространства. Малейшее движение, самый слабый жест были бы недостойны столь необычной ситуации, поэтому ничто не нарушало ее торжественности. Адольф вытянулся на кровати, прямой и неподвижный, напоминая закрытую книгу; Луиза лежала на полу, головой на плече Эдуара, который встал на одно колено, чтобы лучше удерживать ее. Казалось, сам Творец не допустит такой опасности, которая разорвет эту тишину, разрушит совершенство этой сцены. Но это удалось сделать старухе Базилер. Она ворвалась в комнату, как во-

площение неуместности, во главе с камарильей домочадцев, мгновенно развеяв весь мистический ореол, и тут же начала распоряжаться, давая указания одним заняться посмертным омовением и облачением тела Адольфа, другим – побыстрее привести Луизу в чувство.

Луиза, как и все остальные, была несколько удивлена, что ее сестра не поспешила разделить с ней скорбь. Но Эдуар, под предлогом того, что его жене нездоровится, не стал тотчас же уведомлять ее о случившемся.

Неделю спустя после похорон он по-прежнему оставался в родительском доме и ни словом не упомянул об отъезде. Мать даже сделала ему замечание. Чтобы избегнуть подобных намеков со стороны домашних, он перебрался в отель, но каждый день после полудня навещал свою невестку и проводил около часа в ее обществе.

О, эти благостные дни в провинциальной тиши! Какой чистый и ясный свет озаряет всё вокруг! Тишину можно слушать как музыку, и любой звук, который ее нарушает, осознаешь секундой позже или предвидишь минутой раньше. Когда звякает стальная дужка ведра, даже не нужно вставать с кресла, чтобы убедиться, что это мадам Бабет набирает воду из колодца. Если мимо проезжает повозка – откуда, куда?.. – наверняка это булочник или мясник. Затем доносятся голоса: Прюданс буйствует за решетчатыми ставнями или Клодомир раскачивается на стуле. Звонят колокола: один разносит весть о свадьбе, другой – о смерти, и множество лиц в оконных и дверных проемах провожают взглядами свадебный кор-

теж с невестой в белом или следующих за гробом плакальщиков в черном. О, незыблемый порядок людей и вещей! Возможно ли нарушить его, не совершив святотатства, возможно ли отменить, горько о том не пожалев? Даже обычный взрыв смеха раздается здесь как настоящий взрыв.

О, сладость провинциальной жизни, в которой страсть порой находит прибежище, подобно орлу, свившему гнездо над виноградной долиной, или волку, вырывшему логово на краю пастбища!

Горе тому, по чьей вине здесь разразится скандал! Лучше бы ему не родиться!

Но ничто не убаюкивает вас сильнее, чем эта монотонная музыка, почти неслышная и кажущаяся вечной. Через некоторое время вы перестаете замечать ее, как будто вам это запрещено – она словно цветок, который вы не должны увидеть, чтобы удержаться от искушения его сорвать. Она не принадлежит никому.

Луиза, все больше ощущая смутное беспокойство, наконец без обиняков спросила Эдуара, что он намеревается делать.

- Остаться.
- На сколько еще дней?
- Навсегда.
- Навсегда?.. Но ваша жена? Ваши дети? То есть моя сестра Жанна и мои племянники? А я?
- Луиза, для меня во всем мире есть только одно существо это вы. Этого достаточно. Больше ничто не имеет значения ни моя жена, ни мои дети, ни ваши, ни небо, ни земля, ни моя мать, ни долг, ни честь, ни «что об этом скажут». Ничто слышите? ничто не разлучит меня с вами, кроме смерти если вы меня отвергнете.

42.

Она заговорила об их возрасте, уже давно неподходящем для столь рискованных увлечений; о том, что у обоих нет ни одного довода, который мог бы извинить подобную слабость; что, если у него по-прежнему сохранились дружеские чувства к ней, он должен был оставить ее в покое в эти минуты упадка физических и моральных сил – вместо того чтобы, напротив, воспользоваться ее состоянием, чтобы покуситься на ее достоинство; что его брата только что похоронили, а он уже собирается занять его место возле вдовы или последовать за ним в могилу; что с его стороны жестоко с такой настойчивостью нарушать едва обретенное ею душевное равновесие и вновь повергать ее в смятение; что она не хочет ни прерывать свое вдовство, ни овдоветь повторно; что ему, конечно же, известно, какое значение – не меньшее, чем он сам, - она придает тому «мистическому» событию, что некогда соединило их раз и навсегда, предназначив друг другу; что она уже сказала ему слишком много, но решилась на это, чтобы он нашел в себе силы отказаться от нее, оправдав оказанное ему доверие; что драмы такого рода обычно задействуют актеров из незнакомых и чуждых друг другу семей, снижая, по крайней мере, ущерб, который неизбежно последует за их падением; что если они уступят страсти, то руины, в которые обратится их жизнь, на таком тесном пространстве неизбежно погребут под собой не только их, но и близких, которые в равной мере дороги им обоим, отчего катастрофа будет еще более разрушительной и неискупимой; что, наконец, если он действительно так решил, - пусть умирает один, не увлекая ее за собой в пучину гибели, и тогда она,

по крайней мере, сможет утешить и поддержать тех, кого он оставит потрясенными и отчаявшимися.

Произнося эту речь, Луиза не вполне верила в искренность Эдуара; она испытывала ее, полагая, что обстоятельства могли временно ввести его в заблуждение относительно его истинных намерений. Она говорила себе, что он дважды увидел ее одинокой и в каком-то смысле свободной – сначала еще невестой накануне свадьбы, а потом вдовой, оказавшись рядом с ней в тот самый момент, когда она ею стала, – но и в том и в другом случае эта свобода была мнимой, отчего перед ним возникал некий обман зрения, ложная перспектива; что ей нужно открыть ему глаза на реальное положение дел; что она не была свободна с того дня, когда они встретились, и он сам вскоре перестал быть таковым. Но когда Эдуард собрался с силами, чтобы ответить ей, по его омраченному взгляду, срывающемуся голосу и сбивчивым словам она вдруг поняла, что оказалась лицом к лицу с чем-то новым и непредвиденным, доселе неизвестным, что Рок без всяких предупреждений внезапно перенес ее на край бездны, о самом существовании которой она раньше не подозревала. «Невозможное» - то, чего боишься и ждешь одинаково сильно, - происходило прямо у нее на глазах; жизнь принесла ей это в дар. Конечно, Луизе доводилось наблюдать в своей жизни глубокие чувства, но они всегда были обузданы чувством долга и подчинены правилам приличия. Сколько благородства, сколько утонченности можно обрести на пути сердца! Но встать на гибельный путь страсти – нерассуждающей, опасной, смертельной? Таких примеров ей еще не приходилось видеть.

Даже матушка Ильдефонс, ангел-хранитель ее семейства, в свое время посвятила себя Богу лишь по велению рассудка – не любви.

Неосторожность, которую проявлял Эдуар, затягивая свое пребывание рядом с Луизой, постоянно напоминала ей о проповеди одного отца-иезуита, который со всей убедительностью доказал (хотя поначалу его слова несколько раз прерывались возмущенными криками аудитории), что ошибка, не повлекшая за собой скандал, порой предпочтительнее, чем скандал на пустом месте из-за не случившейся ошибки; примеры были подобраны им настолько искусно, что в конце концов слушатели были вынуждены признать полную обоснованность этого на первый взгляд сомнительного и даже скабрезного утверждения.

Опасность, постоянно приближаемая ходом событий, внушала Луизе ужас; она, столь скромная и сдержанная, привыкшая отказываться от всего и от себя самой, оказалась способна встать на путь, грозящий ей потерей чести. Возможно ли это? Или награда и впрямь того стоила? Или, в сущности, не было ничего постыдного в том, чтобы не оставаться больше одной, навсегда связать себя с другим существом, принадлежать ему душой и телом и в то же время повелевать им - тем единственным существом, которое она действительно любила? Это был самый неожиданный шанс, самое сильное искушение, самый роскошный дар, преподнесенный ей жизнью, сбывшаяся мечта, которую любая женщина лелеет с юности, – неужели она от этого откажется? Ее переполняли гордость и пьянящее возбуждение оттого, что она в любой момент могла протянуть руку к «своему счастью»; но самоуважение, ставшее неотъемлемым за долгие годы,

все еще заставляло ее больше ценить умение владеть своими чувствами, чем сами чувства, – поэтому ей оставалось лишь благодарить Бога за то, что Он предначертал ей, столь слабой, – даже в отсутствии и едва ли не вопреки ее собственному желанию – потребность в возвышенном.

На следующий день, когда Эдуар появился, она, даже не предложив ему сесть, сказала, что, хотя и далека от того, чтобы простить ему его признание, неуместность и поспешность которого сильно поколебали ее душевное равновесие, – она все же благодарна ему за него, но сейчас умоляет его немедленно уехать. Она не прощается с ним навсегда, но он должен оставить ее в покое на время траура. Она, со своей стороны, заверяет его, что в его отсутствие будет думать только о нем, и в привычном распорядке ее жизни ничего не изменится; что на данный момент это единственный способ для них быть вместе.

И вот у обоих страсть постепенно стала вытеснять, а потом заместила собой полностью собственный объект, который отныне воцарился в средоточии души; образ Луизы в душе Эдуара и Эдуара в душе Луизы были подобны двум светилам, жгучим и неподвижным, навеки застывшим одно напротив другого над раскаленной пустыней. Однажды вечером, когда дети пришли к Луизе в ее комнату, она едва ли не впервые в жизни встретила их в полной рассеянности; она смотрела на них, не видя, и с тех пор держалась с ними так, словно ее тяготила обязанность проявлять к ним внимание. Каждый из них тщетно пытался чем-то ее привлечь: старшая рассказывала о собы-

тиях прошедшей недели, самая младшая норовила забраться к ней на колени, схватить за руку или коснуться лица; но ее колени, руки и лицо больше им не принадлежали, их слова больше не достигали ее слуха, их ласки ее не трогали. Всё, что не имело отношения к ее единственной мечте, стало для нее чем-то вроде смутного воспоминания, утратив прежнюю значимость. Даже для детей больше не оставалось места в ее жизни.

Кто бы ни приходил к ней, будь то управляющий делами или старая подруга, – она встречала их с абсолютным равнодушием, удивлявшим даже ее саму. Всё то время, что продолжался их визит, у нее было ощущение, что они мешают ей видеть ее тайное солнце.

Она редко прислушивалась к тому, что происходило этажом ниже в апартаментах бабушки Базилер, и говорила себе, что та, конечно же, отныне поражена в былых правах, что настало время для мщения, что, забрав у старухи «ее» Адольфа, она теперь отнимет и «ее» Эдуара, и что владения некогда презираемой всеми Луизы отныне многократно превышают всё, что осталось на долю Базилеров.

Только по ночам эти чувства и ощущения менялись на полностью противоположные: внезапная тревога заставляла Луизу раскаиваться в том, что она так небрежна к дочерям, и ей хотелось немедленно просить у них прощения; она вставала с постели, чтобы увидеть их спящими. Все визитеры, от случайных людей до подруг, вновь становились желанными гостями. Одновременно ей начинало казаться, что все вокруг сурово осуждают ее, и она чувствовала себя прикованной к позорному столбу. А ведь на самом деле в свои тридцать

пять лет она пользовалась всеобщим уважением! Слишком поздно было менять свою жизнь. Привыкшая к почтительному обращению, сможет ли она вынести публичное порицание? Ее дети чередой прошли перед ней; она понимала, что ее добрая или дурная слава будет унаследована ими, и это вызывало у нее то гордость, то страх. Нет, говорила она себе. Она не испытала бы ни малейших угрызений совести, заставив старуху Базилер побледнеть от гнева, но заставить собственных дочерей краснеть за нее – нет, никогда! Чего будет стоить ее победа над свекровью, если она заплатит за это стыдом своих девочек!

Однако ее собственная натура, которая в результате этих размышлений раскрылась перед ней во всей полноте, повергла ее в изумление: оказывается, все это время она колебалась лишь перед выбором из двух путей триумфа своего самолюбия, своей гордыни! Неужели ей достаточно просто назвать силой или слабостью то, чего требуют от нее попеременно страсть и долг, и уступить тем или иным призывам – с одинаковым безразличием к их сути? До сих пор она всегда выбирала путь, который представлялся ей наиболее трудным, - иными словами, делала выбор в пользу «силы»; никогда Луиза Базилер не согласилась бы продемонстрировать «слабость»! Сейчас речь шла о том, чтобы узнать, достойна ли она сыграть главную роль в трагедии собственной жизни. Но не окажется ли та глубокая изоляция, в которую нас погружает «зло», выше ее сил, не возобладает ли над ее разумом? Сможет ли она отказаться от того, чего ждут от нее, казалось, сами небо и земля, пристально за ней наблюдая? Но она со-

мневалась, что при виде отчаяния своих близких и злорадства своих врагов сможет выстоять, не погрузившись в пучину безумия.

И только когда она перестала сосредотачиваться на самой себе, ситуация прояснилась. Речь шла не о том, чтобы выбирать между страстью и долгом, добром и злом, а по сути – между собой и собой, поскольку самоотречение в равной мере проявляется в чести и бесчестье, добре и зле. Она все поняла в тот момент, когда осознала, что истинный выбор предстоит сделать между своими привязанностями. От нее требовалось всего лишь ответить себе на вопрос, выберет ли она быть матерью своих детей или любовницей Эдуара. Кого она предпочтет сделать счастливым, кого – повергнуть в отчаяние? Кто в ее душе одержит верх? Сначала она пыталась сосредоточиться на заботе о детях. Вплоть до недавнего времени она полностью отдавала себя им, жертвовала всем ради них – даже их отец не мог потребовать от нее большего. Разве теперь она не могла позволить себе хотя бы небольшой отдых? К тому же речь не шла о том, чтобы их оставить: просто материнский долг отныне перестал довлеть над ее жизнью, исключая из нее всё остальное. В конце концов, она была вольна любить кого захочет, поскольку овдовела – и кто больше Эдуара был достоин заменить ее детям умершего отца? Ведь он был их родным дядей и законным опекуном. Но... Она была свободна, а он? И вот здесь цепь ее рассуждений обрывалась в пустоту. Эдуар был женат, к тому же на ее родной и единственной сестре, младшей, которой она с детства заменяла умершую мать. Они выросли в тени одних и тех же деревьев, под присмотром одних и тех же глаз; они делили одни и те же горести

и радости; их самые ранние и самые драгоценные воспоминания почти не отличались; у них была едва ли не одна душа и одна кровь на двоих. И вот теперь любовь заставит их оспаривать друг у друга одного человека, одинаково дорогого обеим, разделиться, возненавидеть друг друга из-за него? Одной из двух сестер предстоит стать виновной кому же? Конечно ей, Луизе, ей одной, старшей, которая внезапно обернется к малышке Жанне лицом фурии. Нет, ни за что на свете она не объявит эту чудовищную войну! Какую ужасную роль ей предложено сыграть! Нет, она не обратит в руины ни собственный домашний очаг, ни другой, который еще больше ей дорог! Итак, нужно назвать вещи своими именами: всё, что предлагает ей, Луизе Десклодюр, Эдуар Базилер, который утверждает, что любит ее, – это стать падшей женщиной в результате почти кровосмесительной связи.

Но почему, если она его любила, она не вышла за него замуж, а вместо этого устроила его брак со своей сестрой? Было ли это нечто вроде вызова, брошенного Року, - добровольное, умышленное стремление создать как можно больше препятствий для своей любви, включая священные нерушимые преграды? Став ее братом после ее замужества, он сделался таковым во второй раз – уже по ее воле; отныне ей было запрещено даже мечтать о сближении с ним, поскольку это означало бы совершить двойное преступление. Но теперь Адольф был мертв, и Эдуар, забыв о совершенной ошибке, надеялся, что она сумеет надежнее обезопасить себя от кривотолков – которые он предвидел и от которых стремился ее уберечь, - если он сейчас уедет, чем если попытается сразу осуществить свои намерения. Тем не менее он и не думал отка-

зываться от них, поскольку единственным препятствием для него был его брат – собственные жена и дети его не слишком заботили, и он рассчитывал, что Луиза также не будет излишне беспокоиться о сестре и согласится стать мачехой собственных племянников. Она уже почти презирала его – и за его неуместный пыл, и за полное пренебрежение к семье. Праведный гнев приносил облегчение, и, наконец обретя спокойствие, она засыпала.

Однако с наступлением дня страхи и угрызения совести оставляли ее, и она обращала свою благосклонность в противоположную сторону. Опасности, по ночам казавшиеся столь грозными, то ли расточались при дневном свете, то ли вытеснялись повседневными заботами. Сомнения зарождаются в сумраке и бегут прочь, когда солнце облекает нас своим золотым доспехом. Нет больше призраков, нет темноты. Увы! Луиза даже не замечала, что именно по ночам возвращается к реальности, тогда как днем, по сути, грезит наяву, - страсть мешала ей осознать, что ее совесть пробуждается на закате и засыпает на рассвете. Первые проблески зари освещали образ Эдуара, окутанный каким-то новым очарованием, источающий неодолимый соблазн - и Луиза, встречая его, теперь уже у него просила прощения. Ее неосознанный самообман – пусть даже она ни в чем не собиралась менять свою жизнь, пусть даже не хотела и не понимала происходящего с ней, – приводил к тому, что в ее кровь и в ее душу мало-помалу проникал смертельный яд. Словно одержимая, она испытывала все большее наслаждение от расточавшегося внутри нее пламени, которое порой вспыхивало здесь и там, едва не прожигая кожу, будто стремясь вырвать-

ся; эти огненные вспышки, бросавшие яркие отблески на ее душу, слепящие ее, заставляли Луизу чувствовать себя живой. Впервые в жизни она с каким-то болезненным сладострастием исследовала тайники плоти, которые никогда прежде не привлекали ее и о существовании которых она даже не подозревала. Сначала медленно, а затем с нарастающей лихорадочной быстротой она нервными прикосновениями кончиков пальцев пробегала по всему телу, испытывая поочередно удовольствие или странную ноющую тяжесть, открывавшие перед ней те сокровищницы и бездны, из которых состоят тело и душа. Вскоре она уже не могла без тайного волнения смотреть на свои руки, которые раньше едва удостаивала взглядом, а вид собственных обнаженных плеч повергал ее в дрожь. Всякий раз, когда она занималась своим туалетом, вся ее жизнь проходила перед ней – все те семнадцать лет, что они с Эдуаром избегали друг друга, начиная с их неожиданной встречи накануне ее свадьбы, когда Рок отделил их от всех остальных завесой сумерек, в саду, в двух шагах от ее будущего мужа, и заканчивая тем днем, когда она упала без сознания на руки Эдуара, рядом с телом мужа, только что умершего... Итак, Адольфа больше не было, а Жанна как будто отошла в тень, устранилась, чтобы им не мешать. Ах, если бы Луиза не была урожденная Десклодюр, если бы не обладала фамильным складом характера, заставляющим предпочесть даже величайшему счастью неприступную отчужденность, когда внешне безразличное, порой даже дремотное состояние лишь обманчивая маскировка для сжигающей изнутри неотступной навязчивой идеи, - она смогла бы сопротивляться поработившей ее страсти с

большей легкостью и лучшим исходом. Но, будучи Десклодюр, она была более склонной к тому, чтобы смириться, чем противостоять; и как знать, не отражение ли тети Алиды смотрело на нее из глубины синих стекол очков матушки Ильдефонс? Каким искушением для нее была шпалера на окне мансарды, скрывавшая лицо, похожее на бледный цветок, и две почти прозрачные ладони! Как мечтала она сорваться с фамильного древа живых и мертвых, чтобы в одиночку взращивать тот смертельно ядовитый плод, завязь которого носила в себе с самого рождения, — словно бунтующая против ствола ветвь, алчная и безумная.

Благодаря долгой внутренней работе, которой способствовали и труды христианских мистиков, изученные в монастыре, и самостоятельное прочтение «Подражания», Луиза мало-помалу перестала страшиться мысли о том, чтобы отрешиться от мира и разорвать наконец опутывающую ее сеть, сплетенную из «приличий», которые она никогда не воспринимала всерьез, – даже если по давней привычке она и соблюдала их, то в глубине души считала последствиями какой-то древней всеобъемлющей лжи. Больше того – разве не принадлежала она изначально к тому роду существ, которые живут по своим собственным неписаным законам и, как только их узнают, становятся недосягаемыми для остальных, как будто вступают в некое тайное общество? Известно, что человеческая сущность в той или иной, хотя всегда неполной мере отражает божественную; и, возможно, для нее, Луизы, настал момент занять свое законное место в мироустройстве - в священном ордене той Истины, что была явлена ей любовным безумием. Но было ли это безумием – навсегда

освободиться от любых взглядов, кроме взгляда своего избранника? Может быть, эта абсолютная сосредоточенность на единственном взгляде, единственном лице, эта полная отрешенность от мира, эта неподвижность, это оцепенение и безразличие ко всему остальному были проявлениями высшей благодати, превосходящей мудрость всех философий и религий, - той благодати, которая нисходила на отцов-пустынников, о чьих деяниях она читала в монастыре Святого Креста, или на основателя монастыря, о котором рассказывали сестры-кармелитки? Конечно, говоря сама с собой, Луиза не прибегала именно к таким оборотам, но по сути именно этой суровой логике повиновалась, стремясь разрушить ее внутреннюю вселенную, страсть, которая ее вела, которая всеми силами пыталась преобразить себя в миф, лучше всего отвечающий ее натуре, чтобы сделать приемлемым для нее то состояние, к которому надеялась ее привести. Даже в тот момент, когда Луиза решила не подчиняться больше ничему, кроме своего желания, и не заботиться больше ни о чести, ни о заурядной морали, она понимала, что ей стоило бы вместо этого просто следовать установленным правилам и довольствоваться исполнением предписанных обязанностей, которые, именно потому, что никто больше не мог ее контролировать, кроме нее самой, следовало исполнять с особой тщательностью. По сути, каждый, кто не следует общепринятым правилам (если только делает это по собственной воле, а не оттого, что был лишен тех или иных прав самим обществом), утверждает, пусть даже не напрямую, что делает это ради стремления к совершенству. Луиза уже словно видела себя сквозь решетку шпалеры, на заре

того дня, когда она пожертвует всеми привязанностями ради одной, – и после этого, что бы она ни говорила и ни делала, какой бы ни стала, ничто больше не будет прежним ни для нее, ни для других, ни для Бога, – поскольку ей уже не удастся вернуться назад, к былой чистоте.

III 57

Чистота.

Отчего это слово по-прежнему сохраняло в ее глазах всю свою ценность и способно было удерживать ее по эту сторону от себя самой? Магия или мания? Предрассудок?.. Ей вдруг вспомнилось старинное родовое поместье, в котором она любила бывать в детстве, среди домашних в шутку именуемое «Давай сюда!». Его оставили ей во владение, потому что там она, в отличие от других членов семьи, чувствовала себя по-настоящему дома. Она подумала, что именно туда отправится вместе с Эдуаром – надолго, возможно, навсегда... а затем, получив отпущение грехов, переселится в чистилише...

...или в ад? Она словно колебалась, стоя на пороге.

Тем, кто подтверждал ее собственные мысли о природе опасности, которой она избегала, одновременно готовясь к ней, тем, кто исподволь готовил мягкое ложе для ее воли, чтобы она крепко уснула, – был призрачный двойник Эдуара, к которому она обращалась в его отсутствие; впрочем, даже сам Эдуар, явившись во плоти, вряд ли оскорбился бы их близостью, их разговорами, в

которых не было ничего чувственного – только нежность. Утонченность его речей, сокровенный смысл образов, возникавших перед ней, стоило ему заговорить, - были для нее столь внове, что она мгновенно приходила в замешательство; ничего даже отдаленно похожего она никогда в жизни не слышала от мужчин, особенно от Адольфа. Голос Эдуара отдавался в ее ушах музыкой невидимого оркестра – словно одинокая скрипка или флейта, он пробуждал один за другим все остальные инструменты. Цветы, которые она срывала с его губ, казалось, были взращены романтической поэзией и религиозными гимнами, трогательная сентиментальность которых в юности вызывала у нее слезы. В его речах было что-то от пламенного красноречия проповедников, которых ей доводилось слышать в особо торжественные дни приношения обетов или вступления в орден новых сестер; еще больше – от негромких, но оттого даже более убедительных слов ее духовника в темноте исповедальни, побуждающего отрешиться от всего, абсолютно всего – от любых привязанностей, от своей семьи, от друзей, чтобы вдали от всех посвятить себя единственной любви. Как могло случиться, что даже тот, кто должен был стремиться спасти ее, вступил в союз с Тьмой, чей Князь преобразился в ее глазах в Ангела Света? Всё роковым образом сошлось – вплоть до ее собственной, питаемой с детских лет, склонности к возвышенному – будто нарочно для того, чтобы усилить притягательность зла в ее глазах; ее страсть, чтобы лучше обмануть ее, облекалась перед ней в одеяния всех добродетелей, принимая порой вид самой Благодати. Нет, увлечь ее не смогло бы ничто низменное; именно потому, что Эдуар возвы-

сил ее над вульгарностью, прежде всего над вульгарностью Адольфа, и тем самым преобразил, она не могла не ответить на его чувства взаимностью. Она проделала столь тяжкий нравственный труд по очищению своего чувства, что, разумеется, перестала бы полагать себя святой, совершив наихудший из грехов.

Наполовину побежденная в борьбе с собой, она, однако, решила подвергнуть Эдуара еще более суровому испытанию. После того как он провел достаточно долгое время, не видясь с ней, она вновь открыла перед ним двери, но лишь затем, чтобы сказать:

– Друг мой, созданная вами ситуация усложняется с каждым днем; если вы еще сохранили хоть немного дружеских чувств ко мне, вы без промедления покинете город. Если вы задержитесь даже на один день, мне станет окончательно ясно, что вас ничуть не заботит мое счастье, которое для меня неотделимо от чести, и тогда вы станете для меня врагом.

После этого она разразилась столь бурным потоком слез, с таким нескрываемым, детским отчаянием, что Эдуар, беспомощно наблюдавший за ней, не осмелился возражать; она подумала, что наконец сделала всё что могла, чтобы он оставил ее в покое, и, убежденная в том, что преодолела сильнейшее искушение, решила больше ничего не предпринимать.

Всеобщее беспокойство по поводу Луизы всё росло; теперь уже не только ее домашние и соседи по кварталу, но и все жители города задавались вопросами о длительном, выходящем за всякие рам-

ки приличия пребывании Эдуара в Шаминадуре, пытаясь понять его причину, и уже недалеки были от того, чтобы предположить, что он ухаживает за своей невесткой. Эти подозрения подтверждались болтовней прислуги и намеками старухи Базилер, еще сильнее подогревавшими любопытство всех остальных. Хотя речь шла о ее собственных детях, старуха Базилер не задумывалась о возможных катастрофических последствиях для семейной репутации – слишком велико было ее желание повергнуть ненавистную невестку в прах, к тому же имея для этого совершенно законный повод, позволяющий не терзаться угрызениями совести. Она не могла отказать себе в удовольствии самолично доносить до Луизы ходившие в городе слухи и одновременно прекратила всякое общение с Эдуаром, запретив ему показываться ей на глаза. И вот, еще не совершив ни одного опрометчивого шага, Луиза оказалась скомпрометирована в общественном мнении. Сколь часто горделивое молчание, не опускающееся до самооправданий, становится в глазах общества подтверждением самой низкой клеветы! Двусмысленные взгляды и улыбки окружающих изо дня в день способны погубить кого угодно. Словно две колонны Соломонова храма обрушились всей своей тяжестью на укрепленные позиции Луизы, сделав ее уязвимой со всех сторон. Однако главная ее вина состояла в том, что завещание Адольфа оставляло за ней право полновластно распоряжаться «Галереей». Возможно, слишком ревностно заботясь о приумножении своего состояния, а также стремясь как можно больше занять себя, не оставляя времени для досуга, и одновременно получить моральное преимущество перед свекровью, Луиза без обиня-

ков заявила последней, чтобы та больше не появлялась в магазине, где отныне ее ничего не касается. Изгнанная из единственного места во всем мире, которое было ей по-настоящему дорого, в котором она чувствовала себя дома даже больше, чем в своем особняке (и имела на то полное право, поскольку своими руками создала его и своим умом и волей поддерживала в течение пятидесяти лет, приведя за это время к вершинам процветания), - чем еще могла жить старуха Базилер, совершенно равнодушная к религии, если не своей ненавистью к невестке, нанесшей ей смертельную обиду? Подобно дряхлой орлице, она сидела в своем гнезде на первом этаже, неотрывно глядя в небесный простор, которого отныне была лишена. Она не сохранила никаких привязанностей, и ее одиночество нарушалось лишь визитами Клода, ее внука, который беззастенчиво обирал ее, разрушая остатки ее могущества, которое она некогда считала незыблемым. Возможно, устрашась двойной угрозы – краха торгового дома Адольфа и банка Эдуара, – она нашла в себе достаточно благоразумия и благородства промолчать несколько недель, ни во что не вмешиваясь, в надежде сохранить хотя бы часть или даже одну лишь видимость своей былой славы?.. Замечала ли она по некоторым признакам, что разрушение зашло слишком далеко, чтобы она могла помешать ему или его замедлить, не обманывая саму себя? Так или иначе, она сказала себе, что, не будучи орудием Судьбы, она может лишь вступить с ней в союз против тех, кого та хочет погубить; утешением ей служило то, что она еще не слишком стара и вполне может дожить до того времени, когда Луиза будет влачить свои дни в нищете и позоре.

Луиза, со своей стороны, опасалась, что не сможет долго выносить отсутствия Эдуара, в пустоте, которую он создал вокруг себя и в себе, а затем распространил на нее и ее окружение. Пытаясь отвлечься от подобных мыслей, она с головой погрузилась в дела. Теперь она каждое утро садилась за кассу в семейном магазине, где прежде царила старуха Базилер, и не уходила до самого вечера, если не считать перерыва на обед. Она с нарочитой старательностью вникала в мельчайшие детали заказов и счетов, удивляя клиентов здравостью своих суждений и проницательностью.

В том краю издавна существовал обычай для вдов – в течение двух месяцев после кончины супруга носить на голове широкую повязку из желтой ткани, почти скрывавшую волосы, подобно монашескому чепцу. Большинство женщин в наши дни отказались от нее, но Луиза, словно демонстрируя полное презрение к любому кокетству, увенчала голову этим солнечным ореолом, который лишь подчеркивал тонкость и благородство средневековых черт ее лица. В то же время ни для кого не осталось незамеченным, что она, некогда одевавшаяся очень бедно, теперь в полной мере удовлетворяет свое стремление к роскоши. Платье из бледного крепа без всяких украшений, которое она прежде носила каждый день, теперь было заменено своей точной копией, но из тафты, сопровождавшей любое из ее движений той едва слышной музыкой, что свидетельствует об истинной элегантности. Ниспадающая широкими складками юбка придавала ее осанке и походке еще больше величия. Работники магазина, привыкшие к суровому обращению и унылым одеяниям старухи Базилер, вскоре были очарованы сво-

ей новой юной хозяйкой, чьи природные доброта и сострадание уравновешивали приобретенную твердость. Ее очевидная для всех энергия и внезапно обнаружившаяся деловая хватка изменили общественное мнение в ее пользу и опровергли все лживые наветы свекрови, весьма этим раздосадованной.

63

Мне и самому случалось порой специально приходить в магазин Луизы, чтобы полюбоваться на нее издалека. Я разделял траур с ее дочерьми, которые были примерно мои ровесницы; помню, одна из них так любила меня, что однажды, когда мне предстояло перенести операцию на лице, она специально послала своего отца передать моему, чтобы не обращался к хирургам, что она и без того выйдет за меня замуж, за такого как есть, и не нужно заставлять меня страдать понапрасну. Наши отцы тогда оба вдоволь посмеялись над этим горячим детским порывом (нам с Алиной было от десяти до двенадцати лет). Луиза с ее горделивой статью всегда вызывала у меня восхищение, и когда по городу впервые пошли сплетни о ней, я был расстроен этим, вероятно, как никто другой. Моя мать воспитывалась вместе с ней в монастыре Святого Креста и из чувства справедливости защищала ее (готов поклясться, в том числе и от себя самой); но я даже не нуждался в ее словах, чтобы убедиться: добродетель освещает всё вокруг одним лишь своим присутствием. Как благотворно порой воскрешать в памяти юношеские порывы своей души, в окружении той прежней атмосферы, в которой они впервые зародились, – всё прошлое словно расцвечивается новыми красками. Так, я часто вижу себя стоящим в сумерках на углу темной улочки, тайно наблюдая за тем, как тело Адольфа Базилера, укрытое погребальным покровом, выносят на улицу со второго этажа его магазина, где проходила церемония прощания. Хотел ли я увидеть Алину, чей траур был отчасти и моим, или же смерть притягивала меня сама по себе, независимо от того, чья она была, – словно она в любом случае затрагивала меня лично? Не чудо ли, что я отчетливо сохранил в памяти и кряхтенье носильщиков, согнувшихся под тяжестью своего груза и с трудом разворачивающих его на поворотах узкой лестницы, и всхлипывания женщин? В свете факелов труп, его саван, мимолетно выхваченные из темноты лица, руки, платки идущих за гробом сияли какой-то особенно яркой, неведомой мне прежде белизной

С этим мрачным воспоминанием для меня неразрывно связано другое, напротив, радостное, которое предшествовало ему всего на пару месяцев, - о грандиозном празднике, устроить который мог, пожалуй, только один человек во всем Шаминадуре, а остальные потом рассказывали детям и внукам, как город был оглушен и ослеплен музыкой и роскошными иллюминациями – в честь первого причастия Жаклин, старшей дочери Адольфа Базилера. Словно в последнем приступе гордыни, он стремился заставить говорить о себе всю округу. Она и говорила; общий смысл сводился к следующему: «Такая пьянка в честь причастия – вот это да!» Мой отец, никогда не любивший показную шумиху, качал головой: «Кто гремит кошельком, загремит под фанфары».

И сразу вслед за этим приходит еще одно воспоминание – передо мной возникают образы, достойные страниц «Морали в действии», священной книги моей памяти: величественный образ «вдовствующей королевы» в своих владениях, а на соседней странице – образ ее «возлюбленного брата». Хотя в те времена я еще смутно понимал смысл происходящего, а вместо райского сада моих героев окружала лишь прозаическая обстановка магазина тканей, они казались мне наиболее точными из всех изображений Адама и Евы после грехопадения. Они были уже не наги, но облачены в черное (в знак траура по своим жертвам или по себе самим?). Высоко над ними огромные колонны поддерживали небосвод, словно звездами, усеянный слезами. Каждый из них двоих был столь же далек от другого, как оба вместе – от всего остального мира, окутанный молчаливым всеобщим осуждением. Но поскольку сейчас я уже научился разгадывать ребусы, это абсолютное отъединение скорее представляется мне апофеозом торжества и в то же время символом наиболее тесного союза, в котором страсть стала причиной всех причин – любовь вознесла ее над человеческим правосудием, а душа – над Божьим судом. И мне всё больше кажется, что именно в этом основа нашей самодостаточности и, пусть даже это прозвучит «не по-человечески», – нашего счастья.

IV 67

Была ли Луиза в самом деле такой, какой ее видели, или же в момент опасности все ее лучшие качества, все добродетели словно по волшебству объединились и проявились во всей полноте, чтобы отвести угрозу или хотя бы отдалить тот роковой момент, когда та станет неотвратимой? Она держалась без всякой напряженности, напротив, даже с некоторой рассеянностью, что, по сути, давало повод для более серьезного беспокойства – она как будто постепенно привыкала к существованию в безвоздушной атмосфере, до такой степени, что уже на самом деле могла жить и двигаться в ней, не только не умирая, но даже не особенно страдая. Без сомнения, у нее не было иного средства оправдать в своих глазах собственную слабость или скрыть свое падение, но один Бог знает, решила ли она сдаться уже тогда. Может быть, она еще не чувствовала себя виновной – или вовсе не была таковой никогда, разве что в чужих мыслях или в собственных мечтах... И вот именно этот момент, когда душа Луизы с помощью своих собственных уловок и отговорок остановила себя на краю бездны, чтобы избежать худшего или, напротив, ускорить его приближение, - старуха Базилер выбрала для того, чтобы позвать в гости на несколько дней свою невестку Жанну и детей своего сына Эдуара.

При виде сестры и племянников, внезапно в девять часов утра вышедших из омнибуса на остановке прямо напротив входа в магазин, Луиза, сидевшая на своем привычном месте за кассой, не выказала ни малейшего удивления. Весь персонал украдкой наблюдал за ней, но никто не заметил никакого притворства или излишней сдержанности, когда она, даже не изменившись в лице, поднялась и вышла на улицу, чтобы встретить гостей, словно уже давно их ожидала. Первым делом она извинилась, что не встретила их на вокзале, - и это тоже прозвучало без всякой фальши. Она осталась столь же безмятежной, когда старуха Базилер как фурия выскочила на тротуар и вклинилась между сестрами, разорвав их приветственные объятия. Не обращая внимания на Луизу, словно той для нее не существовало, она загородила перед Жанной вход в «Галерею» и увлекла ее за собой к семейному особняку с отдельным входом в свои апартаменты. Ничего не подозревающая Жанна и Луиза, ничего дурного еще не совершившая, успели лишь обменяться взглядами и кивками поверх головы свекрови, словно извиняясь друг перед другом за ее бесцеремонность, уже ставшую среди домашних притчей во языцех, и уговариваясь не обращать на это особого внимания. Столь тщательно выверенное поведение Луизы человек заурядный не раздумывая объяснил бы укоренившейся привычкой ко лжи; однако вернее было бы предположить, что, поскольку до сих пор она не сделала ничего непоправимого, то, будучи застигнута врасплох неожиданной встречей,

позволила себе эту доброжелательную манеру именно потому, что у нее не было необходимости маскировать таким образом реальную вину, даже если она втайне терзалась страстью. Непоследовательность сердца – лишь одно из переживаний на пути искушения; в нем нет ничего порочащего, напротив, оно становится доблестью, когда душа готовится вступить в бой, заслышав сигнал тревоги. Если Луиза смогла заговорить с Жанной свободно и почти непринужденно, то теперь, поскольку ей не в чем было себя упрекнуть, ей оставалось лишь поддерживать общение с сестрой в том же духе – коль скоро она смогла, собрав все силы, вынести столь долгое присутствие Эдуара без единой уступки своим чувствам.

Жанна, которую свекровь первым делом известила о том, что происходит между ее мужем и сестрой, вначале обратила свое негодование против обвинительницы. Поспешность и безапелляционность старухи Базилер возмутили ее больше, чем возможная слабость собственного мужа и сестры – если они действительно полюбили друг друга. Но постепенно ею овладевало глухое беспокойство, которое она пыталась преодолеть; обладая от природы флегматичным темпераментом, она отказывалась признавать трагедию, участницей которой ее хотели сделать. Вначале она отрицала само существование подобной трагедии, затем – ее возможность, и, наконец, серьезность. Ее собственная апатичность не позволяла ей признать других способными на авантюру столь рискованную и столь изнуряющую. Она была так далека от подобных чувств, что ей казалось невозможным их постичь и тем более испытать и выдержать до конца самой; убедить ее в реаль-

ности происходящего могла бы лишь бесспорная очевидность. И разве не знала она Эдуара как никто другой, разве не была уверена, что он всегда заботился лишь об одном – получить хорошее образование, сделать карьеру и обеспечить будущее детей? Разве не знала она так же хорошо и свою сестру Луизу – невероятно заботливую мать, отчасти заменившую их собственную мать для нее самой? Неужели Луиза действительно замыслила похитить у нее мужа и лишить собственных племянников отца? Неужели сейчас, когда место Адольфа в супружеской постели рядом с ней еще не остыло, она решилась бы уложить туда его брата? Ситуация казалась настолько оскорбительной, что для того, чтобы просто ее вообразить, нужно было изначально поддаться «презумпции виновности», уступить слепой ненависти – словом, впустить в свою душу демонов. В конце концов Жанна принялась с таким пылом защищать тех, кого, пусть и невольно, оскорбила подозрениями, что старуха Базилер уже была близка к тому, чтобы отказаться от обвинений; она сказала, что готова попросить прощения у Эдуара, Луизы и самой Жанны, но с некоторой иронией добавила, что не может не радоваться, оказавшись в этой истории хуже всех, - стало быть, все остальные оказались лучше: лучше нее и лучше, чем она о них думала. На ее губах по-прежнему играла недобрая улыбка, но она постепенно смирялась с обстоятельствами; отказавшись от своего первоначального намерения отступить, она принялась разрабатывать более хитроумную тактику нападения. Она говорила себе, что ее слишком сильно ненавидят, чтобы доверять ее словам, и гораздо охотнее поверят в ее злой умысел, чем в вину Эдуара и Луизы. Тем

не менее в глубине души она оставалась твердо убеждена в своей правоте и говорила себе, что, в конце концов, это даже к лучшему, если Жанна осталась в заблуждении, – главное, что она сама не позволила обмануть себя ни наивности одной, ни порочности двух других. Более ненавистная всем, чем когда-либо, она ждала, что развитие событий ее оправдает, наслаждаясь своим полным одиночеством, которое было одиночеством знающего. Опьяненная гордыней оттого, что единственная разгадала чужую игру, посреди всеобщего несчастья своих домашних, в преддверии катастрофы, которую предвидела, она испытывала некое мрачное ликование, более достойное старого хищника, нежели человеческого существа.

Расставшись со свекровью, Жанна немедленно отправилась к Луизе. Она без обиняков рассказала обо всем, что недавно узнала, и о том, что отвергла это как явную клевету. Луиза, в силу присущего ей благородства, не могла солгать; к тому же момент показался ей наиболее подходящим для того, чтобы открыть истину, воздав справедливость всем участникам событий – и старухе Базилер, и Эдуару, и самой себе, – которые в преддверии семейной катастрофы вели себя как должно. Она рассказала о том, что Эдуар всегда любил ее, с момента их первой встречи, о том, как они вновь обрели друг друга после долгой разлуки, о том, что все эти семнадцать лет они никого не предавали, и о том, как после смерти Адольфа она пыталась бороться с намерениями Эдуара, а он, очевидно, - с самим собой. В заключение она добавила, что временная слабость Эдуара – всего

лишь нечто вроде болезни, и, несомненно, заслуживает их общего прощения; если они обе проявят достаточно благородства, чтобы удержаться от вражды, они вскоре его исцелят.

Не произнеся в ответ ни слова, Жанна вышла и вернулась в отель, где ее ждал Эдуар. Она не стала упрекать его и вообще никак не проявила своих чувств, но по одному лишь взгляду на него, по какой-то новой, не замечаемой ею прежде манере поведения она поняла, что исцелить его уже не удастся. Она без всяких объяснений собралась и немедленно уехала. Ни свекровь, ни сестра ее больше не видели. В свою очередь, она поняла, что бессильна против неизбежности; с одного взгляда она увидела на этом человеке, который был ее мужем, печать Рока, приведшего его к падению, и почувствовала себя неспособной что-то изменить - слишком сильным было его внутреннее смятение, всю разрушительность которого она в ужасе осознала. Оставив детей на попечение старухи Базилер (которой она послала короткую записку) и собрав остатки семейного состояния (которыми с позволения мужа могла распоряжаться полностью самостоятельно), Жанна отбыла.

Матушка Ильдефонс с удивлением узнала, что Жанна, побывав в Шаминадуре, даже не повидалась с ней. Она навела справки и, осознав всю глубину бездны, разверзшейся между ее кузинами, которых она привыкла считать своими родными сестрами, написала Луизе, что хочет многое ей сказать. Луиза, однако, уклонилась от встречи,

поскольку за этим свидетельством дружбы ей померещился какой-то очередной маневр старухи Базилер. Матушка Ильдефонс, в свою очередь, убедилась после этого отказа, что самое худшее уже свершилось. Тогда она переключила внимание на дочерей Луизы, своих воспитанниц. Каждый вечер после занятий она приглашала их для разговоров к себе в кабинет, что их порядком тяготило – в самом деле, вместо того чтобы играть со сверстниками, они вынуждены были отвечать на завуалированные напускной небрежностью вопросы о том, не замечают ли они чего-то странного у себя дома, особенно связанного с присутствием или отсутствием их дяди Эдуара. Они не замедлили сообщить матери об этих допросах под маской заботливости, но это привело лишь к тому, что ежедневные допросы стали перекрестными; одновременно с этим у дочерей Луизы, наряду с убежденностью в том, что взрослые втягивают их в какие-то свои непонятные интриги, начали зарождаться первые подозрения относительно нее самой. Им хотелось прояснить для себя роль их дяди в жизни матери, а заодно - хотя, возможно, они сами того не сознавали, – вызвать разлад между нею и матушкой Ильдефонс, благодаря которому их жизнь могла бы измениться к лучшему (подобно всем детям, они смотрели на любое нарушение устоявшегося распорядка, требующего от них дисциплины, как на неожиданные каникулы или праздник). По тому, в какую ярость пришла Луиза от их собственных осторожных расспросов, они догадались, что их подозрения отнюдь не безосновательны.

С тех пор как внезапный приезд и незамедлительный отъезд сестры поставили Луизу в весьма двусмысленное положение, из которого невозможно было найти выхода, она стала болезненно чувствительной: даже тень упрека, даже самый прозрачный намек на совершенную ею «ошибку» выводили ее из себя. Причиной этих вспышек негодования служило то, что она единственная знала: вопреки всякой очевидности, она не совершила ни малейшего проступка, который окружающие могли бы поставить ей в вину. На самом деле в ней не было никакой червоточины, ничего, что позволяло бы считать ее безнадежно испорченной; но ее репутация уже была таковой. Она была виновна лишь в том, что позволила злым языкам сплетничать о ней, что не сохранила свой образ неискаженным в глазах других. Отныне ее чистота оставалась прежней лишь в ее собственных глазах, и не что иное, как гордыня, произраставшая из этой чистоты, сделала ее неспособной на уступки. Ее возмущала малейшая бестактность; можно вообразить ее состояние, когда она узнала от дочерей о нравоучительных проповедях, которые они каждый вечер вынуждены были из-за нее выслушивать – как если бы ее падение уже свершилось или должно было вот-вот свершиться. Окончательно взбесило ее известие о том, что ее детей заставляют шпионить за ней в ее собственном доме и по возвращении в монастырь подвергают их суровым инквизиторским допросам. Такое поведение матушки Ильдефонс она не могла расценить иначе, как глубочайшее личное оскорбление. Луиза тут же собралась и без всяких уведомлений нагрянула к настоятельнице. Она произнесла речь, исполненную едкого сарказма,

в которой утверждала, что матушка Ильдефонс оказалась в плену слухов, которые распространяли о ней, Луизе, низкие люди. «Теперь я вижу, – заключила она, – в том, что говорят обо мне, не больше основания, чем в том, что говорят о вас». И в тот же день забрала дочерей из монастыря Святого Креста, а на следующий день перевела их в лицей – чтобы, по ее словам, навсегда избавить от ханжеского лицемерия настоятельницы.

После этого не осталось ни одного человека во всем городе, кто не осудил бы столь опрометчивого, необдуманного поступка. Таким он и был – ведь если мнения на наш счет разделились ровно пополам, важнее всего не умножать число наших врагов; и если хаос грозит обрушиться на наш дом снаружи, нам менее всего подобает содействовать ему изнутри. Вся очевидность была против Луизы – а мир живет лишь очевидностью. Пусть даже матушка Ильдефонс проявила достаточно мужества, чтобы взять свою кузину под защиту (в том числе и от своих собственных подозрений), хотя та и поступила по отношению к ней столь неподобающим образом, – это лишь увенчало монастырь и его настоятельницу еще большей славой, а на Луизу бросило еще более темную тень. Самые набожные жители города (которым скорее пристало бы отыскивать в Евангелии любые доводы в пользу снисхождения к падшим) незамедлительно заклеймили ее позором, теперь уже в открытую. Прочие, тоже больше не стесняясь, заговорили вслух о том, что преступление считается свершенным, лишь когда предается огласке - как будто и преступник становится таковым, лишь когда о нем узнают, как будто и зло не является злом, пока его не обнаружат. Исходя из такой логики, Луизу

осудили безоговорочно, без единого шанса на помилование – при всей ее безупречности. Старуха Базилер незамедлительно применила в частном порядке Акт о положении мирян и духовенства по отношению к своей невестке, которую отныне рада была считать не только обесчещенной, но и отлученной от Церкви – и обращалась с ней соответственно. Поскольку Луиза и вправду демонстративно порвала с религией, забрав дочерей из монастыря, многие решили, что это стало закономерным следствием ее отказа от морали.

Дочери Луизы, в монастыре воспитывавшиеся весьма строго, с легкостью приспособились к установленным в лицее порядкам, куда более снисходительным. Они пользовались любым предлогом, чтобы уклониться от занятий, отчего их некогда твердые познания таяли на глазах. Их наряды, раньше весьма скромные, теперь отличались кричащей роскошью. Их былая сдержанность без всякого перехода сменилась необузданным кокетством, которое от любых критических замечаний и порицаний становилось всё более вызывающим. Они вовсю пудрились, обливали себя духами и протестовали против любого надзора. Впрочем, такое поведение не было вызвано настоящей распущенностью - скорее, смутным беспокойством, поскольку они чувствовали, сами не зная почему, что все вокруг их как будто постоянно в чем-то подозревают.

Пример старшего брата служил им поощрением. В свои семнадцать лет тот казался двадцатилетним, обладал наружностью Адониса и вызывал восхищение даже у тех, кто его порицал, – сколько

бы они ни метали в него громы и молнии, в итоге неизменно склонялись к снисхождению. Лицо его было матово-бледным, черные как смоль волосы закручивались кольцами. Его костюмы всегда были идеально скроены. Он владел всего двумя способностями, но зато в совершенстве: играть на скрипке и танцевать. Он мог быть чувствительным, иными словами, нежным или жестоким в зависимости от обстоятельств, и сумел подчинить себе всех без исключения: одних - изысканным обхождением, других – внушив им страх. Из всех своих внуков старуха Базилер любила только его, поскольку сумела научить его презрению к матери, стремясь вырастить из буйного подростка нового Ореста. Он рано догадался о ее намерениях и постоянно поддерживал в ней тлеющий огонь ее мрачных упований в обмен на неиссякаемый поток материальных средств; одновременно с этим он умело эксплуатировал тот страх, который сам ей внушал. Она покупала его молчание, но особенно дорого он заставлял платить за свои отлучки и отъезды. И вот однажды, доверительно склонясь к плечу опасного подростка, она поведала ему о худшем. Увы! события, происходящие в семье, лишь подтвердили ему правильность выбранного им поведения, хотя он был достаточно справедлив, чтобы признать, что его бабка по собственному умыслу, злобному и недалекому, создала те обстоятельства, что вынудили Луизу покинуть неприступный бастион, в котором она так долго пребывала. Подвергшись по вине свекрови всеобщему порицанию, проклятая своей сестрой, неверно понятая матушкой Ильдефонс, отвергнутая Церковью, притесняемая слугами в собственном доме и презираемая работниками «Галереи», где

она больше не осмеливалась появляться, - словно одно только подозрение в порочности лишает человека всякой власти над другими людьми и даже права распоряжаться принадлежащими ему вещами, - отторгнутая даже дочерьми, которых постоянно попрекали из-за нее, и боящаяся собственного сына, она естественным образом искала защиты. Напрасно! И вот, усомнясь и в людской справедливости, и в божьем милосердии, - как могла она не вспомнить о своем сообщнике, единственном, кто оставался рядом с ней в бездне их общего падения, как могла, словно в последнем отчаянном вызове, брошенном всем, не открыть ему дверь – пусть даже ее руки сделали это едва ли не против ее собственной воли? Незаслуженно подвергнутая всеобщему осуждению, теперь она словно бы оправдывала его, стремясь заслужить, с упорством человека, побившегося об заклад, что достигнет своей цели. День ото дня она принимала своего гостя со все большей непринужденностью, однако между ними по-прежнему не было и речи ни о чем ином, кроме разговоров, исполненных обоюдных жалоб, в которых страсть проявлялась тем заметнее, чем больше они пытались сдерживаться; вместе с тем смертельную опасность подобных встреч они оба, зная отношение окружающих, в глубине души прозревали.

Не находя себе покоя ни среди живых, ни среди мертвых – ей уже не удавалось избегать насмешек даже во время посещений кладбища, – Луиза, собрав всё свое достоинство, которым ее добродетель и ее несчастье облекали ее в собственных глазах, решилась на крайнюю меру, чтобы окон-

чательно убедиться, что отныне ей запрещено последнее прибежище: однажды в воскресенье она в одиночку отправилась к мессе, облачившись в свой самый роскошный наряд. Она пересекла площадь перед домом, вышла на главную улицу, миновала рыночную площадь – и очень скоро заметила, что всё уже не так, как прежде: даже лица тех, кто всегда был больше других к ней расположен, лица, на которых она надеялась увидеть хотя бы тень улыбки, при ее приближении словно застывали. Знакомые старались не смотреть на нее. У входа в церковь она увидела небольшую группку своих подруг по пансиону и подошла к ним, но ее протянутые вперед руки, уже готовые распахнуться для объятий, застыли в пустоте – ни одна рука не протянулась ей навстречу. Сюзанна Лажомон, самая любимая ее подруга, даже демонстративно отвернулась. Луиза, уязвленная до глубины души, поднялась на хоры, где было ее привычное место. Никто не захотел преклонить колени справа или слева от нее, и, хотя в маленькой церкви было очень тесно, вокруг ее молитвенной скамеечки образовалось пустое пространство. В висках у нее стучало, затекшие от неподвижности спина и плечи болели всё сильней, словно ее побивали камнями. На каменных плитах пола ей мерещились слова не Божьего прощения, но людской хулы. Тогда она окончательно потеряла голову; забыв о молитвах, она шептала проклятья. В конце концов, в чем ее вина? А весь этот высший свет вокруг нее, столь довольный собой – он и впрямь так чист? Какое зло она сотворила? Она отнюдь не желала того, что с ней произошло; напротив, она сделала всё от нее зависящее, чтобы этому воспрепятствовать. Эдуар, без сомнения, поддался ее

очарованию и к тому же оказался единственным, чьи нежные чувства тронули ее самое; но что дурного она позволила себе совершить с ним, что дурного позволила ему совершить с собой? Она не соблазняла его умышленно, ничем не пыталась его привлечь – и что еще она могла сделать, кроме как сопротивляться его намерениям? Ее просьбы и приказания ничего для него не значили – она запретила ему появляться у нее дома, но он регулярно приходил к ней каждый день в одно и то же время. В конце концов она уступила, едва ли не наперекор себе – но только потому, что к этому ее не принуждала ничья чужая воля, лишь собственная, и только себя она могла бы винить за последствия. Но кому она не собиралась уступать – так это самоназначенному синедриону, который требовал ее распятия: в чем ее вина, если она всего лишь не запретила Эдуару ее видеть? Ей хотелось выпрямиться во весь рост и закричать о своей невиновности, возмутиться тем, что думают о ней, заявить, что это неправда... Здесь, в Божьем доме, она призвала бы в свидетели самого Бога – Единственного, Кто знал ее и мог ее судить. Еще немного – и она утратила бы остатки самоконтроля, которые еще удерживали ее от этой публичной исповеди; тем, что она смогла их сохранить, Луиза была обязана воспоминанию о скрытой, но неослабевающей угрозе, которая издавна довлела над ее семьей, - впасть в безумие. Она ощутила нечто вроде легкого дуновения на своем лбу, которое, однако, предвещало бурю, застлавшую ее глаза пеленой и наполнившую уши гулким рокотом, - но почти сразу пришла в себя. Она поняла, что стоит только ей заговорить в полный голос, нарушить окружающую ее благоговейную тишину, позво-

лить себе хоть малейший жест, отличающийся от обычных в такой ситуации, - она потеряет рассудок. К ней бросятся со всех сторон, скрутят, затем облачат в смирительную рубашку – и тогда, без сомнения, она разом освободится от Эдуара и от себя самой... Ей уже почти хотелось этого, она была готова с этим смириться; сейчас она предпочла бы такую участь другой, уже ожидавшей ее, эту трагедию – другой, уже для нее начертанной, безответственность безумия – долгу, диктуемому разумом (но не было ли это малодушием?), заточение в палате для душевнобольных – другому, не менее суровому, куда вынудили бы ее удалиться все «верующие» - точнее, те, кто делали вид, что разделяют с ней ее веру, и оказались столь безжалостны к ее мукам, которые делали ее лишь более драгоценной для Бога, – лишь потому, что эти муки отличали ее от всех остальных, окружающих ее «христиан». Выбор был для нее очевиден, и это был выбор между двумя кругами ада: безумием и бесчестьем. Здравый смысл подсказывал, что лучше отступить перед неизвестным – иными словами, перед отвратительными внутренними демонами, которые только и ждали возможности освободиться и явить себя. Нет, это было бы слишком легко; все сочли бы ее отрицание вины признанием таковой, а неожиданно овладевшее ею в святом месте безумие – небесной карой. Нет, лучшее, и даже, вероятно, единственное, что стоило бы сделать, - выбрать позицию, прямо противоположную такому самоотречению. С трудом приведя в порядок ускользающие мысли, она наконец решила, что именно ей нужно, и попросила у Бога вновь ей это дать - иными словами, вернуть ей прежнее страдание. Теперь этот опыт казался ей

столь же возвышающим и облагораживающим, сколь недостойным - недавнее поспешное решение, продиктованное отчаянием: в конце концов, что предосудительного она сделала за всю свою жизнь, вплоть до сегодняшнего дня? Какой была ее участь? Она претерпевала от всех, она вытерпела всё, она только и делала, что страдала. В чем состояло получение удовольствия, которое ей приписывали? Она страдала от присутствия Эдуара в Шаминадуре и в ее доме – перед ней, рядом с ней. Если она и согрешила, то лишь недеянием. Что до гнусного преступления, в котором ее обвиняла всеобщая молва, в наказание за которое самые озлобленные из мужчин требовали выжечь у нее на плече позорное клеймо раскаленным железом, ей достаточно было, что Бог и она сама знают: это ложь. Не отрицая доли своей вины в том, чего не удалось избежать, она тем не менее готова была хранить молчание, коль скоро это было предначертано судьбой. Внезапно у нее на глазах выступили слезы радости – она почувствовала себя единственной христианкой, пребывающей сейчас в обители Бога, под Его взглядом – «одной вместе с Ним». Нет, она не впадет в безумие, нет, она не прибегнет к этой увертке, к этой лазейке. Отныне она будет нести бремя своего страдания без ложного стыда и гордыни, но с почтением и тайной гордостью.

Тем временем месса шла своим чередом – более медленно, чем поток мыслей Луизы, стремящейся найти для себя достойный образ действий. И вот, почувствовав себя прощенной и воодушевленной, она решила уйти, не дожидаясь окончания службы, – гораздо лучше было удалиться незамеченной, чем пробираться сквозь направляющу-

юся к выходу толпу, выносить тесную близость своих ненавистников и ощущать на себе десятки враждебных взглядов. Кто знает, сможет ли она под градом насмешек и оскорблений удержаться на ногах – не подкосятся ли они, не предадут ли ее? Станет ли ее уход проявлением слабости или силы? Из скромности она выбрала для него самый торжественный момент – когда зазвенели алтарные колокольчики и священник благоговейно поднял гостию на кончиках пальцев, вознося Святые Дары. Она встала, машинально повернулась, оказавшись спиной к алтарю, и решительно направилась к выходу – сначала медленно, но, словно по волшебству, с каждым шагом ее походка становилась все более легкой и одновременно величественной. Она шла вдоль нефа, словно сквозь толщу воды или языки пламени, и все присутствующие опускали головы или веки, когда она проходила мимо – как если бы сам Бог решил на сей раз отказаться от поклонения себе, принимаемого Им непрерывно, чтобы воздать почести Душе, терзаемой страстью и бедствиями, – и теперь все эти заурядные слепые существа вынуждены были, вопреки себе и неосознанно, склониться перед ней. Когда же головы вновь поднялись и глаза раскрылись в поисках привычной жертвы – Луизы Базилер, оказалось, что она, словно чудом спасенная божьим вмешательством, исчезла.

Оказавшись снаружи, она глубоко вдохнула воздух. Улицы, в первой половине воскресного дня еще безлюдные, встречали ее без всякого предубеждения. Позолоченные солнцем плиты мостовой, розовая черепица крыш под ярко-го-

лубым небом казались радужным обрамлением ее вновь обретенной безмятежности. «Человеческие гнезда, - рассеянно подумала она, - которые казались убежищами, но превратились в ловушки...» Сегодня ей предстояло обедать вдвоем с Эдуаром – ее дочери собирались куда-то пойти, – но она твердо решила не возвращаться домой и направилась за пределы города, в сторону леса, словно в глубину собственной души. Удалившись от беспощадных, непримиримых людских взглядов, преследовавших ее даже в священной обители Бога, из которой она вышла на цыпочках, и миновав городские предместья, она почувствовала, как у нее сразу прибавилось сил, и отправилась свободно бродить по лесным тропинкам, словно по собственным тайным владениям. Она как будто снова видела себя на пороге своего любимого с детства загородного дома, которому в семье дали прозвище «Давай сюда!» Она не была там вот уже много лет и сейчас наслаждалась воспоминаниями о былых временах. «Не иначе, – сказала она себе, - это ангел взял меня за руку и привел обратно во времена моей юности. Нигде во всем мире я не смогла бы почувствовать такое умиротворение. О, счастье вновь обрести себя безупречной, уважать и ценить себя даже среди всеобщей хулы!» Встречные земледельцы, простые крестьяне, знавшие ее с колыбели, разговаривали с ней почтительно, как с госпожой. Дурная молва еще не добралась сюда. В глазах этих славных людей, как и в своих собственных, она оставалась прежней; что до животных и деревьев, они, даже если и не узнавали ее, радовались ее появлению. Сколь благотворным было для нее почтение малых сих, кого общественное мнение еще не настроило про-

тив нее, сколь отрадно было считать себя еще более невинной, чем в действительности, – потому что они считали ее таковой... «Госпожа...» Их уважение вернуло ей уважение к себе; она воспряла духом, обрела былую уверенность и пообещала себе сохранять достоинство впредь. Значит, еще остались те, кто продолжает считать ее «порядочной женщиной». Позволит ли ей Рок - ее Рок остановиться в самом начале опасного пути и не заскользить под откос? Она наслаждалась благотворной исцеляющей мощью, которую дает доброжелательное отношение других; она ощутила прилив внутренних сил. Она с наслаждением впитывала бальзам бесхитростной любви и поклонения, предметом которых стала, - хотя порой у нее возникало мимолетное чувство, что она узурпировала эти незаслуженные почести, эти знаки внимания, на которые уже не имела полного права, – и очень скоро будет вновь их лишена. Поэтому она спешила ими насладиться. Ей казалось, что она слышит колокольчики курьерской почты, везущей срочное донесение, призванное очернить ее в глазах ее маленького «придворного круга», после чего он уже никогда не будет относиться к ней по-прежнему, разве что в ее воспоминаниях. К чему эта пробудившаяся в ней уверенность, эта окутавшая ее безмятежность, если ничего уже не исправить – она «пала» и останется «падшей» навечно, ее прежнюю репутацию не вернуть; она зашла слишком далеко в своих бедствиях и страданиях, чтобы не углубиться в них еще больше. Теперь ей предстояло спускаться всё ниже и ниже и наконец рухнуть в бездну, где только и можно было выдержать всю тяжесть бремени человеческого проклятья – и кто знает, не добавится ли к

нему еще и божье?.. Нет, она не станет развенчивать себя – пусть даже только для того, чтобы не огорчать этих почтенных землепашцев и пастухов, пусть только ради их любви к ней и своей ответной любви!

Ей приготовили комнату и обед; но первым делом она попросила письменный прибор и быстро набросала слегка дрожащей рукой несколько строк, обращенных к Эдуару. Она писала, что он должен уехать сегодня же вечером, вернуться к семье и навсегда исчезнуть из ее жизни; что она сама будет вынуждена скрываться, если он не откажется от своих намерений; что теперь пришел ее черед угрожать самоубийством; что она скорее решится на такой исход, чем согласится еще больше углубить создавшуюся между ними двусмысленную ситуацию, которая уже серьезно повредила им в глазах других и в конце концов восстановит их друг против друга, когда каждый из них почувствует отвращение к самому себе; что она, со своей стороны, больше не собирается испытывать долготерпение Небес.

Передав записку посыльному, она подумала о том, что малейший ущерб, нанесенный женской репутации, непоправим; что порожденная им клевета, распространяющаяся всё шире, уже не имеет никакого отношения к ней и ее поступкам; что никто из ее хулителей до сих пор не нашел бы повода обвинить ее в злонамеренности или в злодеянии; что нет числа губительным последствиям необдуманных поступков, коль скоро ты их совершил или позволил кому-то совершить; что, может быть, как раз вот этот посыльный, на которого она возложила поручение, должное всё исправить, принесет в город новости о ней, которые только

подтвердят всем убежденность в ее падении, а затем, вернувшись, расширит круг всеобщего презрения вплоть до ее нынешнего убежища – единственного места, где она надеялась скрыть свою безнадежно испорченную репутацию... Ей казалось, что вокруг нее по непонятным причинам сформировался некий вселенский заговор, и теперь, как бы она ни противилась, все усилия будут напрасны – она вынуждена будет совершить уже вмененное ей преступление; что, таким образом, вопреки распространенному среди недалеких людей мнению, не ошибка влечет за собой дурную репутацию, но – гораздо чаще – дурная репутация порождает ошибку; что мифы о нас предшествуют нам и толкают на поступки, которые мы совершаем словно под воздействием гипноза, даже не пытаясь сбросить бремя изначальной обреченности.

На следующий день Луиза отправилась к кюре – человеку без возраста, в чьем облике было что-то от ребенка и одновременно от старика. Он встретил ее без особой теплоты, но сумел найти именно те слова, в которых она сейчас нуждалась. «Скандал, в том случае если это не результат нашей действительной вины, - пояснил он, - является для нас испытанием». Он посоветовал ей вынести все последствия незаслуженного позора с теми же мыслями и чувствами, с той же кротостью и тем же величием, что Господь наш Иисус, который вынес всю тяжесть несправедливого осуждения и в жизни, и в смерти. Для нее, как и для Него, говорил кюре, достаточным основанием взять на себя ответственность за творящееся в мире зло должно стать само несовершенство человеческой

природы: ведь жители Шаминадура осудили ее не потому, что она была и впрямь виновна. «Нужно лишь предпочесть незаслуженное унижение фальшивой славе – хотя и то и другое ничто перед лицом Предвечного. Только истина имеет значение, только она судит нас и выносит нам приговор. Ложь не способна прославить или обесчестить нас самих – только наши фантомы. Ни ложь, ни фантомы не являются реальностью. Нет иной реальности, кроме истины. За ее пределами нет вообще ничего. Оставьте видимость тем, кто готов ею довольствоваться, и вам достаточно будет сознавать, что вы остаетесь невиновной в глазах Бога и в своих собственных...»

Успокоенная этим разговором и ободренная разумным советом, Луиза приняла решение больше не возвращаться в город. Чтобы занять свой досуг, она вызвала к себе самого старого из служащих «Галереи», главу одного из отделов, которого готовила на роль управляющего, и при его посредничестве наняла архитектора, чтобы получше обустроить свое нынешнее убежище. По городу немедленно разнесся слух, что она решила построить себе чуть ли не загородный дворец, чтобы принимать там своего любовника. К несчастью, амбиции архитектора сильно превосходили его воображение: он привез с собой целую свиту декораторов, художников, обойщиков, обивщиков, шпалерных дел мастеров, на оплату труда которых пришлось потратить целое состояние. Когда всё было закончено, Луиза, перебирая горы счетов, не укладывавшихся ни в какие первоначальные сметы, с ужасом поняла, что разорена.

Старуха Базилер, со своей стороны, не сидела сложа руки. Поскольку она не могла больше управлять «Галереей», то решила пустить ее по ветру. С юных лет отличавшаяся наблюдательностью, она знала, как делаются подобные дела, и успешно применяла старые испытанные методы ведения войны, многократно себя оправдавшие. Внешне всё выглядело так, словно она пытается удержать на плаву тонущий корабль, но на самом деле она тайно расширяла пробоину: увеличивая долги посредством займов и поднимая цены, она фактически помогала обосновавшемуся поблизости конкуренту, который постепенно перетянул к себе почти всю клиентуру, вызвав тем самым полный паралич торговли в «Галерее». Она без колебаний вкладывала в свои махинации все средства, которые еще оставались в ее распоряжении, и в конце концов, заручившись поддержкой некоего торгового сообщества, объявила о намерении построить вместо постепенно приходящей в упадок «Галереи» современный «универсальный магазин». Идея старухи, сколь бы сумасбродной поначалу ни казалась, начала воплощаться в жизнь с не меньшей быстротой, чем архитектурно-декоративные проекты ее невестки. Кажется, впервые в жизни они одновременно и слаженно занимались одним и тем же: разрушением (в том числе и самих себя) под видом созидания. И вот в одном из новых кварталов города действительно расцвел, подобно гигантскому фантастическому цветку из стекла и стали, модный магазин, все прилавки которого заполнились выставленными напоказ безделушками и прочими дешевыми и пестрыми товарами, переливающимися в ярком свете электрических ламп. Этого оказалось достаточно, что-

бы полностью очаровать неискушенных провинциалов – ослепленные фальшивой роскошью, они совсем перестали ходить в магазин Луизы, тускло освещенный светом газовых рожков, похожих на те, что обычно зажигают на третьеразрядных похоронах.

Однако старуха Базилер на этом не успокоилась – по ее инициативе лучших работников «Галереи» щедрыми посулами переманили в новый магазин, и они стали увольняться один за другим. Кроме того, на новом месте начали предлагать товары в долговременную рассрочку, чего в этих краях прежде никогда не было. Это последнее нововведение окончательно лишило «Галерею» постоянных покупателей из тех, на кого проще воздействовать обещанием выгоды, чем любыми угрозами.

Вот так старуха Базилер, ничуть не заботясь ни о репутации своей семьи, ни о своем доме, ни о своих внуках (даже о Клоде, единственном из них, кого, по ее собственным заверениям, она любила), вложила в разрушение семейного благополучия столько же изобретательности и упорства, сколько некогда вкладывала в его созидание – и всё лишь для того, чтобы напитать свою ненависть к невестке, чтобы увидеть, как та будет погребена под обломками грандиозного крушения, даже если ей самой суждено будет погибнуть вместе с ней. Так некоторые слабовидящие насекомые пожирают своих собратьев, не узнавая их.

Будучи всю свою жизнь на содержании у бабки, Клод не снисходил до того, чтобы предпринимать самостоятельные усилия для добычи средств

к существованию. После нескольких неудачных попыток сдать экзамены, которые он проваливал оттого, что ленился к ним готовиться, он поочередно отказывался от любых возможностей сделать карьеру, которые предлагала ему семья, используя свои многочисленные связи, – поскольку это потребовало бы от него хоть какого-то соблюдения пусть даже нестрогих правил. Единственная работа, которая пришлась ему по душе, была работа палача по отношению к своей матери, этому искусству «заплечных дел мастера» бабка обучала его едва ли не с колыбели, в качестве награды балуя, словно наследного принца. Обладая от природы неким демоническим талантом к мучительству, он преуспел в этом деле как никто другой. Днем он обычно слонялся по городу, переходя из одного кафе в другое, а по ночам посещал всевозможные сомнительные заведения. Он никогда не ложился спать до рассвета и никогда не просыпался раньше полудня. Чаще всего он имел дело с кабацкими шлюхами, которых постоянно унижал, но гораздо больше ему нравились «залетные птички» - гастролирующие певицы, танцовщицы или акробатки, – которые, в свою очередь, очаровывались им, столь отличающимся от большинства провинциалов своей красотой, непревзойденным умением вальсировать и играть на скрипке, а также блистательным цинизмом. Некоторых он просил задержаться подольше, некоторые сами оставались из любви к нему. Каждое воскресенье он обедал у бабки, и рядом с тарелкой его всегда ждал плотно набитый конверт – но поскольку уже ко вторнику от содержимого ничего не оставалось, он садился в машину и отправлялся к матери в ее загородный дом. Луиза ничего не

говорила – при малейшей попытке возразить он грубо обрывал ее. У кого из них больше прав обвинять другого – у нее или у него? Уж точно не ей его упрекать! (Далее шло перечисление тайных пороков и даже преступлений, которые по-прежнему приписывала его матери беспощадная молва.) А кто должен был первым исполнить свой долг по отношению к другому - и не исполнил его? Какие уроки, какие наставления он получил от нее в детстве? Она обесчестила его еще до рождения, и едва открыв глаза, он видел лишь дурные примеры с ее стороны, которые еще в детстве сбили его с пути истинного. Сын, который не может уважать свою мать, обречен творить гнусности. Лишь отвращение, которое он всегда испытывал к ней, заставляло его падать всё ниже и ниже. Он говорил, что это она в ответе за всё совершенное им зло, и что лишь ее одну он будет проклинать, когда, уже совсем скоро, опустится на самое дно разврата и разгула, куда она его привела буквально за руку. Затем, переходя от пафосных обвинений к иронии, он сообщал, что весь город жалеет его и проклинает ее, и что ему известно (о, сколько раз он шептал эти слова ей на ухо!) – она отдалась брату своего мужа прямо в комнате, где лежал еще не успевший остыть труп последнего. Более того – если, как утверждает молва, она стала любовницей Эдуара сразу же после того, как вышла замуж за Адольфа, то как сможет он сам, Клод, с точностью утверждать, кто из них является его отцом, а кто - дядей? Он говорил, что у него, конечно же, есть законные оправдания своего дурного поведения – ведь он, как и она (и через нее) принадлежит к семье безумцев и убийц. Об этом уже давно поведала ему старуха Базилер, добавив,

что не обязательно изучать генеалогическое древо семейства Десклодюр до самых корней, чтобы обнаружить здесь и там то смирительную рубашку, то руки, обагренные кровью. Кто знает – возможно, Адольф Базилер постепенно угас именно благодаря неустанным заботам своей супруги. Луиза, не в силах возражать на эти чудовищные обвинения, обрывала разговор и уходила; но поскольку Клод продолжал преследовать ее, ей приходилось запираться у себя в комнатах, а когда он взламывал замки – устраивать баррикады из всего, что подворачивалось под руку. В отчаянии убедившись, что никакие преграды не могут защитить ее от Клода, опьяненного бешенством и алкоголем, она сдавалась и выходила. И вот они снова оказывались лицом к лицу, мать и сын: она бледная, растрепанная, дрожащая, он – еще более бледный, осыпающий ее бранью и порой не останавливающийся перед тем, чтобы поднять на нее руку. Но даже поверженная им, она вынуждена была слушать его и дальше: он говорил, что ждет лишь своего совершеннолетия, чтобы заставить произвести эксгумацию тела своего отца и исследовать его внутренности. При малейшем подозрении, что отец был отравлен, он, Клод, сотрет ее в порошок, заберет все ее деньги и станет, наконец, богат. Порой он задевал другую струну, не менее чувствительную - заводил речь о своей доле отцовского наследства. Через несколько недель он станет совершеннолетним – и вот тогда-то заставит ее вернуть украденное или, в случае отказа, вызовет в суд, где повторит во всеуслышание все те обвинения, которые пока высказывал только за закрытыми дверями. После этого он требовал денег – не жалкой милостыни, но своей законной

доли наследства, официальное получение которой было лишь делом времени. Затем внезапно менял тактику: заговорщически подмигивая, говорил мягким вкрадчивым тоном, преображаясь из обвинителя в сочувствующего: «По правде говоря, ведь мы оба изгои, поэтому нам гораздо выгоднее был бы союз, чем война. В сущности, кто ты и кто я? Шлюха и мерзавец – значит, легко договоримся. Нет-нет, я не предлагаю тебе сожительство – хотя ты, судя по всему, считаешь, что любовников надо выбирать исключительно в кругу семьи. Но это, по большому счету, вопрос вкуса – каждый забавляется на свой манер, и уж точно не мне тебя осуждать. Обычное для женщины дело: избавившись от одного, развлекаться с другим; если из двух братьев тебе всегда больше нравился не тот, кто стал твоим мужем, - то и на здоровье! Больше того – когда мы помиримся, бабка сдохнет от злости, а что до твоего Эдуара – так я сам разыщу его и привезу сюда! Мы будем жить здесь вместе, все трое, и я возьму на себя роль хранителя и защитника вашего любовного гнездышка...» С этими словами он протягивал к ней унизанную кольцами руку цвета слоновой кости, казавшуюся ослепительно белой на фоне темного бархата, и, повернув ее раскрытой ладонью вверх, благодушно спрашивал: «Ну, так сколько же ты мне дашь?»

I 95

В этот вечер Луиза напрасно обыскала все потайные уголки: внутренние карманы юбки и корсета, самые дальние полки и выдвижные ящички секретера – она не нашла и завалящей монетки. Чтобы на время утолить аппетит ненасытного монстра, она выписала последний чек, хотя не была уверена, что после этого ей хватит средств даже на провизию. Лишь после отъезда Клода она отважилась признаться самой себе (ничто так не унижает нас в собственных глазах, как постоянное выслушивание самых гнусных оскорблений; невозможно стоять под неиссякаемым потоком нечистот и оставаться незапятнанным, продолжая считать всю эту грязь чем-то отдельным от себя), что усмирить Клода может лишь постоянное присутствие рядом с ней Эдуара. Только он по праву старшего в семье сможет защитить ее от вымогательств своего племянника. Сейчас, когда все ее ресурсы истощились, у нее не оставалось другого выхода, кроме как позвать его к себе. Быть может, у него окажется достаточно сбережений, чтобы уладить дела с банком, пока не разразился скандал, и он согласится поручиться за нее?

В первое время после смерти Адольфа, когда Луиза полностью погрузилась в дела, она еще не чувствовала себя настолько одинокой и заброшенной. Материальное благополучие – это сила, поскольку тот, кто им обладает, получает власть если не над людьми, то по крайней мере над вещами. Но теперь она была не властна ни над чем. Оказалось, что все, кому она доверяла, предали или покинули ее, что ее доходы иссякли, движимое и недвижимое имущество вот-вот будет распродано с торгов, а сама она стала жертвой алчности собственных детей, которые вели себя с ней как кредиторы. У нее не было даже того пресловутого камня, который некогда искал Спаситель, чтобы приклонить на него усталую голову.

Сам Спаситель, однако, у нее еще оставался; чувствуя, что ее собственные силы иссякли полностью, она наконец осмелилась обратиться к Нему. Он был единственным, на кого она могла положиться. И вот местный кюре, нагруженный ее подарками, отправился с визитом к матушке Ильдефонс, чтобы узнать, не согласится ли та встретиться со своей кузиной. Настоятельница возмущенно заявила, что не хочет себя компрометировать, что Луиза по собственной воле пребывает вне Церкви и оттого не заслуживает сострадания, но лишь справедливого осуждения. Однако священник, более склонный к милосердию, упрашивал ее до тех пор, пока она наконец не смягчилась. Однажды утром она велела заложить монастырскую повозку и в компании капеллана, аббата Кроссе, отправилась в путь по Пратской дороге, овеянной свежей прохладой. Не слишком быстро и не без помех в пути они все же прибыли наконец в «Давай сюда!» и, посетив мессу, пообе-

дали у Луизы. Во время мессы обе кузины не обменялись ни словом, хотя сидели рядом и одна за другой приняли причастие – это было похоже на молчаливое примирение. Но когда они вернулись домой, между ними едва не вспыхнула ссора, и обоим священникам пришлось вмешаться, чтобы призвать их вести себя более сдержанно и проявить по отношению друг к другу больше благородства – как подобает не столько родственницам, сколько христианкам, добавили они, поскольку оба прекрасно знали, что именно кровные узы наименее всего располагают к снисхождению – и тем меньше, чем теснее они связывают.

Когда разговор вошел в спокойное русло, Луиза без всяких прикрас поведала о своем материальном положении и о доле своей вины в том, что оно столь плачевно. Она подробно описала все расходы, назвала точные цифры – невозможно было бы с большей искренностью и честностью произнести эту публичную исповедь. Затем перешла к тому, ради чего хотела встретиться с кузиной. Она попросила матушку Ильдефонс дать ей прибежище под своим кровом или поселить ее в любом монастыре по своему выбору, где она готова жить как послушница, выполняя любую работу, в том числе самую непривлекательную. Но кузина отклонила эту просьбу по трем причинам. Во-первых, сказала она, времена становятся всё более суровыми – никогда еще монастыри столь мало не нуждались в изнурительном физическом труде и столь сильно – в спасении души. Во-вторых, финансовые трудности ее монастыря вполне сопоставимы с трудностями самой Луизы и в ближайшее время едва ли разрешимы. Что до монастырской школы, на ее репутации не лучшим образом скажется

то, что монастырь готов предоставлять убежище падшим женщинам, пусть даже решившим снова встать на путь истинный. И, наконец, в-третьих, она напомнила, что Луиза не должна уклоняться от своего долга матери и хозяйки дома – это было бы слишком легко; что ей уже поздно уходить в монастырь; что жизненные правила менее суровы, чем правила некоторых игр, не позволяющих отказываться от участия в них, даже если вот-вот проиграешь. Голос матушки Ильдефонс, звучавший резко, несмотря на все попытки его смягчить, и безапелляционная нравоучительность ее речей привели Луизу в бешенство. Слишком многое разделяло их – воспоминания о былых размолвках, капитально различающееся понимание добра и зла, но даже в большей степени - сама схожесть их натур, одинаково горделивых, с одинаково глубоко укоренившейся потребностью оставаться в любых обстоятельствах самими собой, хотя у одной эта потребность была чисто рассудочной, а у другой – исходила из сердца. Они простились, так и не поняв друг друга: монахиня по-прежнему считала себя более «чистой» и оттого надежнее защищенной от несчастий, поскольку изначально и сознательно отказалась от жизни в миру в пользу монашеского обета; что до Луизы, она окончательно убедилась, что отныне ничего не должна ни Богу, ни самой себе, поскольку сумела хотя бы уберечь себя от самого худшего. Им еще только предстояло быть ввергнутыми в пучину бедствий и тяжких испытаний, после чего – сломленными, обессиленными, запутавшимися - впасть в полное ничтожество, в котором они стали равны друг другу, – и лишь тогда узнать совершенную, бескорыстную любовь и, избавившись от иллюзорного

сознания своего превосходства друг над другом, наконец обменяться истинно сестринским поцелуем.

После отъезда кузины Луиза отчего-то решила зайти в комнату младшей дочери. Всё те же самые предметы стояли на тех же самых местах, что и во времена ее собственного детства. Она подошла к туалетному столику и взглянула на себя в зеркало. Сейчас, оказавшись на самом дне в результате своего стремительного падения, она могла в полной мере оценить его последствия. Когда-то она заплетала перед этим зеркалом свои еще тонкие детские косички, и всё вокруг улыбалось ей, всё было одним сплошным обещанием. Теперь у нее не осталось ничего, кроме сожалений: она промотала свое состояние и бросила в прах бесценное сокровище своих сердечных привязанностей. Бабушка Десклодюр спала вечным сном на кладбище в двух шагах от дома, и порой Луизе казалось, что она слышит, как та ворочается, будто прежде у себя в спальне. А ее сестра Жанна – разве не играла она еще совсем недавно в куклы в тени шелковицы, возле читающей книгу Мари?.. Увы, Жанна и матушка Ильдефонс осудили ее и больше не удостаивали своим обществом, ее дочери больше ей не доверяли, а сын мечтал лишь о том, как бы сжить ее со света. Ее одиночество становилось всё более полным, ужасающим, беспросветным; поглотившая ее бездна всё росла. Это несправедливо, повторяла она про себя, это несправедливо!.. Должно ли случившееся с ней послужить тому, чтобы она изменила свою жизнь, – либо каким-то образом утешилась, либо впала в неизбывное от-

чаяние? Она уже готова была смириться; ей уже грезились будущие лишения... Ей казалось, что ее лицо окутано черной вуалью, – глядя на себя в зеркало, она как будто всматривалась в непроницаемую тьму, готовая погрузиться в нее, точно в омут. Однако она понимала, что тем самым всего лишь дала бы посторонним мужчинам повод для «дурных намерений». Словно бросая последний вызов их тайному общему заговору против нее, она выпрямилась, как будто сбрасывая со своих плеч множество чужих рук, и беззвучно воскликнула: «Я не стану призывать никого в свидетели, что именно вы толкнули меня на этот путь, – но знайте, что я отнюдь не желала этого так, как вы! »

В эту минуту, наиболее драматичную в своей жизни, она трезво оценила все имеющиеся у нее шансы, чего не делала прежде никогда, и констатировала: «В сущности, на всем свете не найдется двух других существ, которые были бы так безнадежно одиноки; есть по крайней мере один человек, столь же одинокий, как я, – и одинокий единственно из-за меня, так же как я одинока только из-за него; мы оба вне общества, вне закона – и я еще раздумываю, стоит ли просить его приехать!.. Почему бы не объединить два наших одиночества и тем самым уничтожить их? Вдвоем, в безгрешном союзе, с Божьей помощью мы сможем противостоять всему миру. Если взглянуть на это противостояние, следуя наставлениям нашего кюре, станет очевидно, на чьей стороне истинное и возвышенное, на чьей - ошибочное и заурядное... Возможно, Бог в конце концов, тронутый искренностью наших намерений, откроет людям глаза и явит нас миру благословенными Им, до-

бродетельными и торжествующими. Тогда я верну себе доброе имя...» На память ей пришла фраза из одной старинной книги: «Я был бы очень удивлен, если бы узнал, что созерцание собственной души и борьба с несчастьями – не самые богоугодные занятия».

Тем временем Эдуар, вынужденный уйти в тень, на досуге написал научный труд по археологии, который уже оспаривали друг у друга несколько издателей; однако всё это время он не переставал ждать, что Луиза, полностью обессилев, словно преследуемый раненый зверь, позовет его. И вот однажды, в самый обычный дождливый день, еще более заурядный, чем любой другой, он услышал этот призыв, похожий на предсмертный стон. Воодушевленный тем, что наконец-то сможет защитить Луизу от всего враждебного мира и, может быть, от всех небесных сил, а заодно от собственной матери, чьи козни не были для него тайной, и от племянника, о чьих намерениях он был осведомлен, – Эдуар в тот же день отправился в путь и к полуночи добрался до убежища Луизы.

Узнав о том, что Луиза и Эдуар отныне живут вместе под одной крышей, старуха Базилер слегла и приготовилась умереть, наконец-то убедившись в справедливости своих подозрений и правильности своих действий. Застывшими глазами она смотрела на разрушенные семейные очаги обоих своих сыновей, полностью удовлетворенная, ко всему равнодушная. Так старый адмирал, собираясь потопить свой флот и пойти ко дну вместе с ним, лишь бы не сдаваться врагу, в последние минуты кусает губы, стоя на капитанском мостике.

Когда Эдуар оказался лицом к лицу с Луизой, он увидел, что виски ее поседели, а лицо изменилось почти до неузнаваемости, покрытое сеткой морщин, прочерченных горестями и заботами. Это было лицо не возлюбленной, встречающей своего избранника, а мученицы, истерзанной пытками и состарившейся намного раньше срока. С ним произошло то же самое. Но сколь спасительна оказалась для них эта физическая немощь и сколь утешительны общие воспоминания о молодости. здоровье и красоте! Всем этим они пожертвовали ради друг друга, но зато теперь могли благодаря этому возвыситься над самими собой. Надежно защищенные от разврата собственной одряхлевшей плотью, они сохранили искреннее обоюдное уважение и, перенеся свою любовь на территорию дружбы, ничем не ограниченной и безупречной, в саму возможность существования которой они прежде едва могли поверить, - образовали невероятно гармоничный, истинно райский союз, став свидетелями, больше того – творцами нового, возможно, единственного в своем роде, неис-

Вынужденная появляться в городе, куда время от времени призывали ее дела, с которыми только она одна могла разобраться, – что должна была испытывать Луиза, когда к череде несчастий, неизменно следовавших за ней, добавлялись произносимые шепотом оскорбления и проклятья? Она не могла найти прибежища даже внутри себя самой. Не привыкшая к унижениям и неспособная защитить себя, – на кого она могла опереться? Вокруг нее была пустота. Но заслуживала ли она такого

сякаемого величия.

отношения? Разумеется, нет! Ей достаточно было не принимать ложных обвинений на свой счет – и она становилась для них недосягаемой. Когда ее обвиняли в грехе, ей достаточно было, что она и Бог знают о ее невиновности, – и она шествовала под градом оскорблений, опьяненная собственной уверенностью. Достигнув крайнего предела очевидного для всех падения, она держалась без всякого высокомерия, равно как и без ложной скромности; она торжествовала, преображенная своей тайной добродетелью, еще более реальной и ощутимой оттого, что скрываемой глубоко внутри.

103

Однако возвращение ее дочерей, которых она за недостатком средств была вынуждена забрать из пансиона, вызвало новую волну всеобщего осуждения - уже не только в городе, но и среди окрестных крестьян, что особенно сильно расстроило Луизу, привыкшую к их всегдашней благожелательности. Итак, у нее хватило бесстыдства поселить своих детей под одной крышей со своим любовником, возле оскверненного семейного очага, тем самым заставив их разделить ее позор! Невозможно даже представить, о чем думали четыре юные девицы, ежедневно садясь за стол вместе с матерью и братом покойного отца, своим дядей, чье присутствие было абсолютно ничем не оправдано, и какие вопросы они себе задавали! Без сомнения, Луиза полностью утратила чувство приличия, коль скоро допустила подобную ситуацию, вынудив дочерей постоянно пребывать среди скверны и не заботясь о том, чтобы скрыть от них свое греховное сожительство или, по крайней мере, поскорее отослать их от себя! Однако Луиза слишком гордилась своей порядочностью, чтобы обращать внимание на сплетни и домыслы, и была уверена, что, хвала Богу, дочери знают ее достаточно хорошо для того, чтобы не заподозрить ни в чем дурном. Она говорила себе, что порой можно противостоять ложным обвинениям лишь одним способом: оградить себя от любого зла, не позволить ему завладеть своей душой – и тогда, пусть даже со стороны будет казаться, что всё погибло, самое главное будет спасено.

104

Когда она случайно встречала кого-то из прежних друзей, они уже не старались побыстрее ускользнуть и не опускали глаза, делая вид, что не замечают ее, – теперь, когда для всех она была падшей, они смотрели на нее в упор и, видя ее спокойствие и безмятежность, открыто возмущались, стоило лишь ей пройти мимо, ее цинизмом и бесстыдством. Если ее сопровождали дочери, то, не обладая ее выдержкой, они гораздо мучительнее переживали недоброжелательность окружающих, и порой им казалось, что они слышат нечто такое, о чем встречные на самом деле не только не говорили, но избегали даже думать. Однажды вечером самая младшая осмелилась спросить у матери об услышанной в городе фразе, содержащей какойто намек, смысл которого остался ей непонятен. После этого Луиза долго не могла заснуть. Порой старшие, более жестокие, требовали объяснений незамедлительно, отнимая у нее часть немногих оставшихся сил, необходимых, чтобы продолжать путь, но она всякий раз искажала смысл услышанного ими наиболее приемлемым для них образом, - с изворотливостью и хладнокровием, удивлявшими ее саму. Когда они выходили одни, то часто встречали брата, в свою очередь изводившего их скабрезными речами, отчего дальнейшая совместная жизнь в материнском доме становилась всё более невыносимой. Последствия фамильного бесчестья ощущались всеми и по оскудению материального достатка, тающего с каждым днем, что постепенно приближало семью к границам нищеты, которую тем унизительнее было переносить, что она была новой и непривычной - слишком свежи были воспоминания о недавней роскоши. И кого было в этом винить?.. В обмен на те немногие сбережения, которые еще оставались у Эдуара, Луиза вынуждена была постоянно требовать от детей проявлять уважение к нему, на что они соглашались со всё большей неохотой. Окружающая обстановка свидетельствовала о разрухе и упадке - изысканная столовая посуда, некогда выглядевшая столь великолепно, потускнела и пооббилась по краям, предметов меблировки становилось всё меньше, а пустующего пространства между ними – всё больше. Каждый раз, когда приходилось продавать что-то из особо ценных вещей, чтобы умилостивить кредиторов, начинались взаимные обвинения. В конце концов из мебели не осталось ничего, кроме самых простых столов и стульев, отчего семейное гнездо стало унылым, словно казенное учреждение. Сами стены, почти полностью голые, если не считать висящих в спальнях распятий, казалось, источали укор, осуждение, призыв к покаянию – порой здешним обитателям казалось, что они попали в тюрьму или в чистилище, если не в ад.

Даже один только вид Луизы, превратившейся в призрак, в собственную тень, вызывал тоску; что до Эдуара, его облик ужасал. То ли из слабости, то ли оттого, что это был самый верный способ както сблизить его со своими дочерьми, – но Луиза

стала демонстративно избегать его общества; возможно, его присутствие, хотя и не вызывало у нее отвращения, все же становилось для нее тягостным и, во всяком случае, не доставляло ей удовольствия. Эдуар вскоре догадался об этом, но сделал вид, что этого не замечает; он лишь постарался стать еще более незаметным, словно бы стереть себя из поля ее зрения, почти полностью утратив те остатки элегантности и утонченности, которые были его последним достоянием. Угнетенный как собственным несчастьем, так и чужими, причиной которых он стал, Эдуар махнул рукой на свой внешний вид и одежду. Был ли это способ наказать себя или забыть о себе? Или, скорее, он уступил некой бессознательной инерции, словно решил постепенно и безболезненно отделить себя от мира живых – перестав действовать и вообще отказавшись от любых движений? Самые простые гигиенические процедуры давались ему с трудом: он почти перестал мыться и причесываться, растолстел, стал грузным и неповоротливым. Погруженный в мрачную апатию, он не говорил, не слушал и, казалось, ничего не видел, полностью отрешившись от происходящего вокруг.

С тех пор как он прибыл однажды ночью в дом Луизы, он ни разу оттуда не выходил. Через какоето время он перестал покидать свою комнату, затем – свое кресло. Знаки внимания племянниц и даже самой Луизы стали для него мучительны. После совместного пасхального обеда, во время которого каждый глоток давался ему с трудом, словно вся еда была безвкусной или отравленной, он пообещал себе больше никогда не появляться за общим столом. Всё, что еще сохранялось у него от семейных или дружеских отношений, ис-

чезло или близилось к исчезновению. Сон был единственным, что его не тяготило. Порой, видя его столь потерянным, Луиза посылала кого-то из старших дочерей, Жаклин или Алину, угостить его чем-нибудь вкусным или развлечь – но ничто уже не могло остановить или задержать его на той дороге, по которой он скользил всё быстрее, не останавливаясь ни на миг, к глубинам своей собственной бездны; он ненавидел себя за то, что продолжает существовать, не в силах поверить, что когда-нибудь его существование прекратится.

107

Лишь изредка сквозь эту неподвижную, застоявшуюся атмосферу словно проносился резкий порыв ветра, как бывает иногда на болотах, и монотонную череду дней нарушало, подобно внезапной грозе, раскалывающей горизонт ударом молнии и оглушительным громом, непрошенное вторжение Клода. Обычно он являлся на рассвете после ночного кутежа – изможденный, бледный, но не утративший своей необыкновенной красоты, особенно завораживающей в свете факелов, которые несли его друзья. Вначале он молчал, словно затаившийся в засаде хищник, поджидая свою жертву, и лишь когда Луиза наконец выходила из укрытия, привлеченная шумом, который устраивали его спутники, он давал себе волю – из его уст извергался поток самых грязных оскорблений, не стихающий порой до наступления дня и пробуждающий всю округу. Появление сестер, спешивших на помощь матери, ничуть его не смущало, и он продолжал в том же духе. Обращаясь к ним, он еще меньше стеснялся в выражениях: с беспощадной прямотой, не упуская ни малейшей детали, он наглядно описывал им их нынешнее жалкое положение, а затем, словно отдергивая занавес, показывал столь же очевидное и плачевное будущее. «Подонками общества – вот чем вы станете в самом скором времени! – громогласно заявлял он. – Вам некуда будет пойти, кроме как в публичный дом или на панель, потому что ваша мать вырастила из вас шлюх!» По какому-то чудовищному недосмотру или попущению Небес именно этому сатанинскому отродью было суждено рисовать перед невинностью ужасающую картину грозящей ей участи. Невозможно представить, чтобы Бог поручал дьяволу искушать праведных и мучить грешников до седьмого колена! Для некоторых ад начинается еще при жизни: библейское «Изыдите, проклятые!» обретает для них буквальный смысл. У них не остается ни сил, ни решимости бороться, ни стремления к покаянию. «Мы будем работать, скажете вы. А что вы умеете? Да если бы даже что-то и умели – кто возьмет таких на работу?» Клод был прав: в таких случаях любая дорога к спасению оказывается закрытой.

Однажды ночью обитатели «Давай сюда!» услышали глухой нестройный шум, приближающийся со стороны города. Вскоре не осталось никаких сомнений, что к дому движется огромная толпа, не разбирая дороги, прямо через парковые лужайки и клумбы. Луиза бросилась к окну своей спальни, чтобы закрыть окно ставнями, но тут кто-то снизу окликнул ее – и в этот момент она разглядела в

неверном свете фонаря среди обезумевших людей своего сына, почти нагого и окровавленного. Она выбежала на улицу в сопровождении дочерей. Клод был при смерти. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, когда кто-то бросил ему в лицо имя его матери, словно оскорбление, - он, не в силах ни опровергнуть клевету, ни защитить честь матери и свою собственную, мгновенно перешел от замешательства к ярости и бросился с голыми руками на вооруженного обидчика. Его перенесли в дом и уложили на кушетку посреди гостиной. Сейчас он казался еще прекраснее, чем всегда – его лицо впервые выглядело спокойным и умиротворенным. На бледном лбу темнели капельки запекшейся крови; зажатая ладонями рана в паху напоминала ужасный пульсирующий цветок, лепестки которого раскрывались и опадали, и распускались вновь. В последний раз собравшись с силами, Клод заговорил, словно призывая небо и землю в свидетели: «Вы видите эту женщину, которая произвела меня на свет; она же меня и убила, причем дважды: если я с юных лет стремился к саморазрушению, то лишь для того, чтобы не так сильно страдать от ее позора, и вот теперь я умираю из-за того, что меня попрекнули ее именем».

В присутствии полусотни чужих людей, своих дочерей и Эдуара, укрывшегося за портьерой, Луиза услышала из уст своего умирающего единственного сына смертный приговор. Можно ли вообразить пытку более жестокую? Когда испорченный юнец замолчал и застыл неподвижно, испустив дух вместе с последним проклятьем, и собравшиеся приблизились к Луизе, перед ними оказалась уже не та женщина, которая встретила их всего полчаса назад. Она вообще мало походи-

ла на человеческое существо – скорее на загнанного зверя. Разрываясь между желанием заговорить и неспособностью это сделать, она невольно впилась зубами в язык, и вкус крови, заполнившей рот, окончательно помутил ее рассудок. Она впала в такое буйство, что пришлось отвезти ее в клинику для душевнобольных и кормить искусственно, вставляя питательную трубку в разрез у основания пишевода.

110

Шести месяцев тишины и покоя оказалось достаточно, чтобы ее несгибаемая натура полностью восстановилась. Но почти одновременно с этим пришло известие о том, что самая младшая из ее дочерей серьезно больна. Эта ужасная новость парадоксальным образом довершила исцеление Луизы. Она тут же поднялась с постели и настояла на немедленном отъезде, чтобы ухаживать за Рафаэллой.

Девочке недавно исполнилось четырнадцать. Это была самая любимая из дочерей Луизы, самая чувствительная и, пожалуй, самая серьезная. Она единственная умела в разговоре с матерью искусно обходить опасные темы, чтобы не ранить ее. Впрочем, Луизе было не в чем упрекнуть и остальных своих дочерей – так, она была очень благодарна старшей, когда та шепнула ей на ухо, в одну из самых тяжелых минут ее жизни, когда от отчаяния у нее мутился рассудок: «Бедная мама! Не слушай никого – ты же знаешь, что Богу известно о тебе всё, и разве не снизошел бы Он к твоему горю, даже если бы ты была виновна?»

Речи умирающей, полные искренности и детского обаяния, не вызывали у Луизы смущения

или замешательства – напротив, помогали прояснить собственные мысли.

«Почему бы дяде Эдуару не вернуться домой? – говорила она. – У него ведь есть жена и дети». Или: «Что означает "бесчестье"? Я много раз слышала от Клода, что мы все обесчещены. Это значит, что нас никто не позовет в гости? А некоторым людям вообще не нравится ходить в гости, и больше всего они любят сидеть дома...»

Смятение, поселившееся в этом хрупком юном существе, усиленное душевными страданиями, многократно превосходящими те, что выпадают на долю большинства людей, и полностью иссушившими источник жизненных сил, ускорили и без того уже близкую кончину. Если смерть сына ввергла Луизу в пучину безумия, поразив самые тонкие фибры ее души, то утрата самой невинной из дочерей разрушила их почти полностью. Часто ей казалось, что устами Рафаэллы говорит с ней ее ангел-хранитель. Что предвещал этот двойной знак судьбы – потеря двух детей, один из которых всю жизнь мучил ее, а другая всю жизнь утешала?

Несчастная мать, которую ни одно бедствие не обошло стороной, – воистину Бог забрал у тебя одного и другую, чтобы скрыть от них то, что тебе пришлось узнать о третьей, из ее собственных уст, что не оставляло никаких сомнений в правдивости услышанного. В один прекрасный день Жаклин, усевшись на колени матери, призналась ей в том, что беременна.

Едва Луиза успела вздохнуть свободно после отъезда Эдуара, исполнившего предсмертную просьбу Рафаэллы, как вместо прежнего груза на нее обрушился другой, еще более тяжелый.

«От кого?» – была ее первая мысль.

И подумать только – Жаклин!.. Еще свежо было воспоминание о грандиозном празднике, который устроил Адольф в честь ее первого причастия, заодно продемонстрировав всем фамильное богатство и фамильное же высокомерие семейства Базилер. На десять лье в округе, пожалуй, не нашлось бы достойного претендента на ее руку – достаточно богатого, знатного или одаренного выдающимися способностями. А сегодня – кого она готова избрать в мужья, при условии, что сам он согласится стать таковым? Оказалось, что будущий отец ее бастарда – молодой человек по фамилии Пьеро, сын тюремного смотрителя.

Воистину, так было предначертано! Мусульманин сказал бы, что на всё воля Аллаха, и не стал бы сокрушаться; но христианин сам пишет свою историю в памяти Бога.

Луиза склонила голову и дала Жаклин благословение.

В конце концов, это ее личное дело! Именно в этой точке произошло разделение ответственности: благословив дочь, Луиза не избавилась от чувства собственной вины, но, приняв случившееся, стала безмятежной, почти счастливой: достигнув наконец крайнего предела унижения, она чувствовала, что словно бы истончается, рассеивается, переходя в состояние, близкое к небытию.

Пьеро? Ну что ж, почему бы и нет? Даже двойная ирония судьбы – это нелепое имя и род занятий будущего свекра Жаклин – вызывала у Луизы скорее усмешку, чем досаду. К тому же сам молодой человек приятно удивил ее – хорошо воспитанный, вежливый, весьма недурной наружно-

сти, умный и доброжелательный, из тех, для кого обычно не составляет труда найти себе место в жизни. С ней он держался особенно почтительно.

Когда по городу разнеслась новость о свадьбе некогда самой богатой наследницы во всей округе и стало известно имя ее избранника, злые языки дали себе волю, доводя свои издевательские речи едва ли не до открытого кощунства. Итак, старшая дочь Базилера отныне и до конца своих дней будет именоваться «мадам Пьеро»! Да уж, лучшей мести не придумаешь! И с кем же она, согласно обычаю, рука об руку войдет в церковь во главе свадебного кортежа? Со своим будущим свекром – тюремщиком! И с ним же Луиза должна будет выйти из церкви – согласно всё тому же обычаю. Хороша процессия! И всякий раз, когда Жаклин будет приводить свой выводок к деду в гости, о ее прибытии будет возвещать звон грубого колокола над зловещего вида дверью со множеством замков и засовов.

Но вот чего Шаминадур, в силу своей моральной нищеты, не мог понять — часто бывает, что, пройдя через такую же или подобную дверь, попадаешь в свой любимый дом, к семейному очагу, в атмосферу истинного счастья. И разве не могло случиться, что само Небо захотело именно такого поворота событий: чтобы потомки двух богатых и благополучных семейств — Базилер и Десклодюр, впавших в грех гордыни и совершивших множество жестоких поступков, были ввергнуты в крайнюю степень нищеты и, по-иному взглянув на себя, смогли увидеть себя в истинном свете; чтобы материальные лишения открыли их сердца смирению, а оно принесло с собой семейное согласие и душевный покой.

Сразу после свадьбы Жаклин Луиза, истощившая свои последние скудные средства, без лишних уговоров приняла предложение поселиться у юной четы, в одном из бедных городских кварталов, где ей с двумя дочерьми отвели две комнаты на троих. Однако, по неизъяснимой милости Всевышнего, которую Он щедро ниспосылает тем, кто больше не связан ежедневными насущными заботами, Луиза перестала страдать от своей участи, какой бы жалкой та не выглядела со стороны. Отныне она была неуязвима – ничто уже не могло повредить ей ни в этом мире, ни в ином.

Разрыв с человеком, которым вы восхищались, которого боготворили, происходит очень быстро, если вам пришлось заплатить репутацией и счастьем ваших близких за союз с ним, пусть даже безгрешный, – вы не сможете простить ни себе, ни ему последствий столь губительной иллюзии. Само его присутствие, которое прежде мнилось вам главной конечной целью вашей связи, становится худшей из пыток; его взгляды пронзают вас, как отравленные стрелы, и вот уже вам хочется только одного – укрыться от них.

Теперь, когда Эдуар был далеко, Луиза не испытывала ничего, кроме облегчения, — словно обнаружила в его отсутствии доселе неизвестную, самую драгоценную составляющую своей былой чистоты; словно каким-то образом забыла о своем падении и не вспоминала беспрестанно ни о его причине, ни о предрасположенности к нему; словно место рядом с ней, которое прежде занимал человек, занял Бог, бесконечно сострадательный и милосердный, которого ей — к немалому удив-

лению ее самой – порой случалось даже упрекать, как бы перейдя из подчиненного положения в главенствующее, при том, что Он ни разу не упрекнул ее ни в чем. Утратив былую сдержанность, она обращалась к Нему без всякой почтительности, дерзила, жаловалась на те испытания, через которые Он заставил ее пройти и которые были выше ее сил; но вместе с тем благодаря Ему в ней пробуждались воспоминания о юных годах, которые она словно проживала вновь, во всей их благоухающей свежести. Затем одним легким прикосновением Он стер все последующие воспоминания, и отблеск Его Святого Лика осветил ту уже недолгую часть пути, которая ей оставалась.

117

Примерно в то же время, когда рушились последние укрепления семейной твердыни Базилеров, вышел печально известный закон о перерегистрации монашеских конгрегаций, что привело к упразднению многих из них¹. Начальница монашеского ордена Святого Креста распорядилась, чтобы все монахини, имеющие диплом об образовании и в силу этого способные быстрее остальных найти себе работу, обеспечивающую пропитание, покинули монастыри. Матушка Ильдефонс, входившая в эту некогда привилегированную категорию, вынуждена была подчиниться; и, поскольку она уже давно израсходовала все свои личные средства на ремонт и расширение монастыря, настоятельницей которого была, ей пришлось проявить смирение и довольствоваться, подобно самым скромным из своих послушниц, первым же

Очевидно, имеется в виду закон 1901 года, в соответствии с которым предполагалось закрыть большую часть духовных школ, принадлежащих монашеским конгрегациям, и расширить сеть светских. Вскоре после этого, в 1905 году, был принят закон об отделении церкви от государства. – Прим. перев.

предложенным местом – гувернантки в семье Лазарус, владельцев того самого универсального магазина, который стал успешным конкурентом «Галереи». Какой удар был бы нанесен по фамильной гордости Мари Шавастелон, если бы она вспомнила о своем происхождении! – но не меньший удар был нанесен достоинству матушки Ильдефонс, еще вчера – главы монастырского ордена в своем родном городе, настоятельницы монастыря, который был обязан своим процветанием лишь ее уму и таланту! Как удивились те, кто привык видеть ее облеченной величием, сохранившей свою красоту до преклонных лет, прямую и стройную в привычном и оттого идущем ей монашеском одеянии, - когда она предстала перед ними жалкой и ничтожной, в потертой узкой юбке и куцей накидке, съежившейся и словно усохшей, похожей на тряпичную куклу. Но даже это было не самым худшим в сравнении с утратой еще совсем недавно венчавшего ее голову монашеского убора, напоминавшего черное солнце, окруженное белым ореолом, – теперь его заменила дешевая шляпка со слишком яркой безвкусной окантовкой. Ничто в ее внешнем облике не напоминало учительницу, «классную даму», которой она в противном случае вполне могла бы стать; увы, она была скорее похожа на горничную. При более пристальном взгляде становилось заметно, что ее голова как-то странно диссонирует со всем остальным – непропорционально велика и имеет странную форму, отчего весь силуэт выглядит гротескным. Виной тому был парик, который матушка Ильдефонс вынуждена была носить, поскольку ее волосы, постоянно скрытые под монашеским убором, сильно истончились и почти полностью выпали. В театре, некогда созданном ею при монастырской школе, среди прочего реквизита нашлось множество париков, но увы, ни один не оказался ей впору: все, что подходили по цвету, были малы, и наконец пришлось остановиться на самом уродливом – рыжем, огромном, на каркасе из стальной и латунной проволоки, с помощью которого он крепился к вискам. Как будто только этой клоунской детали недоставало, чтобы придать матушке Ильдефонс одновременно причудливый и комичный вид, который еще усиливали постоянно сползающие на нос синие очки.

119

Прибрав к рукам последние остатки имущества семьи Базилер, мадам Лазарус была не вполне удовлетворена столь скудной добычей; но вот, словно в утешение, судьба отдала ей во власть одну из бывших наследниц своих обнищавших конкурентов - и не абы кого, а саму матушку Ильдефонс! Мадам Лазарус, вышедшая из самых низов, манерами и воспитанием мало отличающаяся от торговки сельдью и обладающая вкусами кокотки, была высокой и грузной, всегда разряженной в пух и прах. Окутанная облаком светлых рюшек и оборок, надушенная приторными духами, она была похожа на огромный многоярусный торт, выставленный в витрине кондитера. Когда она в таком виде отправлялась на прогулку, даже ее малорослый супруг смеялся над ней, называя «Мари из Сен-Вори» – в честь деревенской дурочки, которая всегда выходила из дома с пастушьим посохом в руке и любила украшать себя разноцветными лентами. Мадам Лазарус всегда требовала от матушки Ильдефонс сопровождать ее, куда бы ни направлялась - ей льстило наличие собственной свиты. Процессия выглядела живописно – мадам Лазарус шла впереди, а ее гувернантка – на почтительном расстоянии, ведя за руки двух своих воспитанников или неся корзину и сетку с провизией.

120

Злой гений, чья воля, как правило, управляет человеческими судьбами, и не подумал на этом остановиться. Однажды младший из воспитанников матушки Ильдефонс, справляя большую нужду, по неосторожности испачкал свой костюм, после чего ей было вменено в обязанность сопровождать детей в отхожее место и собственноручно подтирать их. Мы бы извинились за то, что не обошли вниманием эту малопристойную подробность, если бы вся жизнь не складывалась из мелочей, постепенно добавляющихся одна к другой, отчего любая из них становится важной – даже если речь идет всего лишь об отхожих местах. В самом деле, это обстоятельство, которое само по себе было бы незначительно, если бы за ним не скрывалось умышленное намерение унизить нашу героиню, ускорило и довершило ее моральное падение. Как?! Сама матушка Ильдефонс, которая в свое время распоряжалась тремя сотнями душ, она, настоятельница и владычица, глава самого лучшего учебного заведения в пяти окрестных департаментах, за всю жизнь не совершившая ни единого проступка, - вынуждена была скатываться всё ниже и ниже с того момента, как согласилась склонить голову перед мадам Лазарус! Именно тот случай, о котором было рассказано выше, стал последней соломинкой, переломившей ей хребет: она стала жертвой той нередкой болезни, при которой эмоциональное расстройство сочетается с желудочным. Что могло ее излечить? В распоряжении монастырской сестры милосердия, матушки Паком, была лишь настойка мелиссы. За неимением другого средства пришлось воспользоваться этим. И без того не слишком склонная задерживаться за столом, теперь матушка Ильдефонс едва притрагивалась к еде – едва уносили закуски, она спешила укрыться в своей комнате, где тут же капала на кусочек сахара немного своего спасительного эликсира. Настойка, вопреки своему невинному названию, содержала немалое количество спирта, который щедро добавлял в нее изготовитель, чья фармацевтическая репутация была весьма сомнительна. И вот однажды вечером матушка Ильдефонс, несомненно, не рассчитавшая дозу снадобья и к тому же утомленная дневными заботами, отправилась в церковь, едва держась на ногах. Она шаталась так сильно, что ей пришлось зайти в лавку булочника, по счастью, открытую, где она, не дожидаясь приглашения, рухнула на табурет. Затем она снова отправилась в путь, но, не дойдя, свалилась прямо посреди улицы под градом насмешек местных зевак, которые уже некоторое время наблюдали за ней. Какие-то добрые люди приютили ее на ночь, ни словом не обмолвившись соседям о ее злоключениях, но среди обитателей Шаминадура уже разошлись слухи о том, как преподобная матушка Ильдефонс накануне вечером шаталась по городу в подпитии. Напрасно она рассчитывала вернуться к своим обязанностям гувернантки: когда назавтра, после утренней мессы, она явилась в дом семейства Лазарус, как ни в чем не бывало, словно не провела предыдущую ночь неизвестно где, - слухи о ее вчерашних похождениях уже дошли до владельцев и посетителей универсального магазина. И вот по-

сле полудня мадам Лазарус, заранее предвкушая удовольствие от еще большего унижения некогда возвышенной души, чье благородство вызывало у нее тайную злобу, лично явилась в классную комнату, где матушка Ильдефонс занималась со своими учениками, и с порога заявила: «Мадемуазель Мари, кажется, вы заработали себе превосходную репутацию! Думаю, вы не удивитесь, когда узнаете, что я не потерплю пьянчужки возле моих детей! Поскольку вчера вечером вы шлялись из кабака в кабак, а потом завалились в дом семьи Парду, волей-неволей вынужденной предоставить вам ночлег, - о том, чтобы допускать вас к воспитанию детей, больше не может быть и речи. Как только вы закончите этот урок, вы соберете свои пожитки и переедете отсюда куда вам угодно – под моей крышей вам больше не ночевать. Доверие честных людей можно обмануть только один раз. Месье Лазарус будет ждать вас возле кассы магазина. Он выдаст вам всё положенное жалованье и сверх того – двухнедельную оплату в качестве отступных, лишь бы вас больше не видеть».

Матушке Ильдефонс казалось, что ее только что отхлестали по щекам на глазах у детей, которым она незадолго до того объясняла главу из катехизиса о семи смертных грехах. Собрав всё свое достоинство, она смогла лишь молча встать и выйти из комнаты, чувствуя себя оглушенной. Куда идти?.. Она сняла крошечную меблированную комнатку в отеле, пользующемся дурной славой, откуда осмеливалась выбираться лишь с наступлением темноты, чтобы купить провизии, или до рассвета, чтобы сходить в церковь к утренней мессе. Именно там, выходя однажды с воскресной службы, она повстречала Луизу.

Как могли они – две кузины, близкие как родные сестры, в равной мере испытавшие на себе удары судьбы, не броситься друг другу на шею? Луиза немедленно отвела Мари к сыну тюремного смотрителя, своему зятю. Когда ему рассказали историю матушки Ильдефонс, он проявил то смиренное, не выставляемое напоказ великодушие, на которое способны, пожалуй, только бедняки, произнеся обычным тоном, как нечто само собой разумеющееся: «Где шестеро поместились, там и седьмому место найдется. Одним больше, одним меньше...» Ей не дали уехать; она заняла место у очага, и глава семьи несколько раз в день повторял, сколь большая честь для него принимать ее под своим кровом.

Окруженная заботой, в умиротворяющей атмосфере семейной идиллии, Луиза вскоре умерла. Кончина матушки Ильдефонс оказалась куда печальнее. Не желая долго обременять приютившую ее семью своим присутствием и втайне страдая от того, что забросила монашеские обеты, она уехала за границу, куда позвала ее одна из ее бывших воспитанниц, ставшая настоятельницей монастыря. Но едва лишь она снова надела монашеское покрывало, как разразилась ужаснейшая из войн, в ходе которой монастырь был разорен, а она и все остальные сестры, претерпев жестокие надругательства, убиты.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАГИИ, ВОРОВСТВЕ И НЕОСТОРОЖНОСТИ

Воровство сродни магии, а жесты искусных взломщиков не менее величественны, чем движения рук священников. Марсель Жуандо размышляет о руках вора и о его душе, описывает своих знакомых, одержимых поэзией авантюры и желающих во что бы то ни стало раздобыть вожделенный предмет. Пожива сама по себе ничего не значит; элегантность исполнения – вот что преобразует кражу в героическую эпопею.

Марсель Жуандо РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАРОСТИ И СМЕРТИ

Приближаясь к семидесятилетию, Марсель Жуандо стал наблюдать за признаками своего старения и написал эту книгу о подготовке к смерти и постепенном расставании с радостями и заботами. Смерть входит в человека тайно, неслышно, словно заноза. Жуандо признавался, что одержим своей смертью и ждет ее, как ждут торжественного испытания. Он попытался лежать в гробу и осознал ужас полного оцепенения, отказа от проявлений жизни.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо **ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ**

Вычурный, фантастический роман «Любитель неосторожности» (1932) не похож на другие книги Марселя Жуандо и отражает его недолгое увлечение сюрреализмом. Главный герой – та-инственный Брис Обюссон – это сам Жуандо, которого друзья называли Кардиналом, его подруга Наталина – эксцентричная светская дама Нэнси Кунард, Бариэль – писатель Рене Кревель, д'Эристаль – любовник Кревеля, художник Юджин Маккаун. Впервые в этом романе Жуандо решился намекнуть на свою гомосексуальность, рассказав о мистической связи Обюссона с Липсе Дулье, «демоном из Орвието».

Марсель Жуандо **МОЙ БЕСТИАРИЙ**

Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Габриэль Витткоп МАСТЕРСКАЯ ПОДДЕЛОК

Мы не удивимся, встретив на этих страницах маркиза де Сада, которого Витткоп считала величайшим стилистом. Ничто так не радует ее, как телесные и душевные страдания. В самом деле, отчего человек должен быть более добродетельным, нежели дикие твари, разрывающие друг друга на части?

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Пьер-Себастьен Евдо **НАШИ УТЕХИ**

Бывший лесоруб Капо из деревни Вакханаль сделал своих сыновей проститутками и, поставляя их привередливым клиентам, сказочно разбогател. Но существует одна проблема – мальчишки быстро дохнут. Знаменитый французский писатель Матье Лендон не отрицает, что П. С. Евдо, рассказавший прискорбную историю жителей Вакханаля, – это он.

Ален Гироди **ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ НОЧЬ**

Жиль испытывает непостижимое влечение к девяностовосьмилетнему старику. Он никак не может разобраться в своих чувствах. Возможно, это любовь. Но безжалостный начальник бригады жандармов намерен положить конец этому безобразию. Роман кинорежиссера Алена Гироди продолжает темы его знаменитого фильма «Незнакомец у озера». Книга получила во Франции литературную премию маркиза де Сада.

Заказывайте книги издательств «Митин Журнал» и «Kolonna Publications» на сайте shop.mitin.com. Курьерская доставка в России, рассылка по всему миру.

Их также можно приобрести в Москве:

- «Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
- «Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
- «Москва», ул. Тверская, д. 8
- «Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
- «Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
- «Индиго», Ветошный переулок, д. 9

в Санкт-Петербурге:

- «Порядок слов», наб. Фонтанки, д. 15
- «Все свободны», ул. Некрасова, 23
- «Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)
- «Подписные издания», Литейный пр., 57

через Интернет:

- «Ozon» ozon, ru
- «Лабиринт» labirint.ru

в Украине:

«Либра» librabook.com.ua

Марсель Жуандо

ЛУЧШЕ ОШИБКА, ЧЕМ СКАНДАЛ

перевод Татьяны Источниковой